

гейл форман

если я останусь

*Мировой бестселлер,
покоривший читательские сердца!*



Annotation

Эту книгу сравнивают с романом Элис Сиболд «Милые кости», самым поразительным бестселлером начала XXI века, по единодушному мнению критики. Хотя общая у них только канва: и здесь, и там душа юной девушки, расставшись с телом, наблюдает со стороны за жизнью близких людей. Но в случае с героиней книги Гейл Форман семнадцатилетней Мией дело обстоит много сложнее. Судьба поставила ее перед выбором — или вернуться к жизни, или навсегда уйти в мир иной, последовав за самыми любимыми для нее людьми.

- [Гейл Форман](#)
 -
 - [07:09](#)
 - [08:17](#)
 - [09:23](#)
 - [10:12](#)
 - [12:19](#)
 - [15:47](#)
 - [16:39](#)
 - [16:47](#)
 - [17:40](#)
 - [19:13](#)
 - [20:12](#)
 - [21:06](#)
 - [22:40](#)
 - [02:48](#)
 - [04:57](#)
 - [05:42](#)
 - [07:16](#)
 - [Благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)

- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)



Гейл Форман
Если я останусь

Нику
Наконец-то...
Навсегда

07:09

Все думают, что это случилось из-за снега. В каком-то смысле, наверное, так и есть.

Я проснулась утром, а газон перед нашим домом укрыт легким белым покрывалом. Оно лишь сантиметра три толщиной, но в этой части Орегона все, как правило, замирает, едва посыплет даже легкий снежок, потому что на всю округу один-единственный снегоочиститель и тот трудится на расчистке дорог. Здесь у нас с неба обычно падает мокрая — кап-кап-кап, — а не замороженная вода.

В общем, снега достаточно, чтобы не идти в школу. Мой младший брат Тедди издает боевой клич, когда мамино утреннее радио объявляет об отмене занятий.

— День снега! — вопит братишка. — Пап, пойдем лепить снеговика.

Папа улыбается и постукивает по трубке. Он начал курить ее недавно, когда вдруг увлекся этим старым сериалом «Папе видней», популярным в пятидесятые годы. Еще он носит галстуки-бабочки. Я никак не могу понять — то ли его новый образ — это верх элегантности, то ли папа просто насмеяется и таким способом сообщает, что когда-то был панком, а теперь учит детей в средней школе, то ли учительство и в самом деле превратило его в завязатого консерватора. Но запах трубочного табака мне нравится: он сладковатый и дымный — и напоминает о зиме и дровяных печах.

— Ты, конечно, можешь предпринять героическую попытку, — отвечает Тедди папа. — Но вряд ли на дорожках хоть что-то залежалось. Пожалуй, сейчас у тебя лучше получится снежная амеба.

Я знаю, папа счастлив. Жалких три сантиметра снега означают, что все школы округа закрыты, включая мою старшую и среднюю, где преподает папа, — так что для него это тоже неожиданный выходной. Мама, работающая в туристическом агентстве нашего городка, выключает радио и наливает себе вторую чашку кофе.

— Ну, раз вы все сегодня бездельничаете, то я уж точно не поеду работать. Это просто несправедливо. — Она берет телефон и звонит на работу; закончив разговор, смотрит на нас: — Мне что, теперь завтрак готовить?

Мы с папой хором хохочем: мама «готовит» кукурузные хлопья и тосты. Повар у нас папа.

Притворяясь, что не слышит нашего хохота, она достает из шкафчика

коробку «Бисквика». [1]

— Ну ладно, вряд ли это так сложно. Кто хочет оладий?

— Я, я хочу! — подпрыгивает Тедди. — А можно с шоколадной стружкой?

— Не вижу препятствий, — отвечает мама.

— Ура-а! — вопит Тедди, размахивая руками.

— Что-то у тебя многовато энергии для столь раннего утра, — поддразниваю я и поворачиваюсь к маме: — Пожалуй, тебе не стоит позволять Тедди пить так много кофе.

— Я уже давно завариваю ему без кофеина, — парирует мама. — Он просто буен от природы.

— Главное — мне не заваривай без кофеина, — сдаюсь я.

— Ну, это уже было бы насилие над ребенком, — замечает папа.

Мама вручает мне дымящуюся кружку и газету.

— Там отличная фотография твоего красавчика.

— Правда? Неужели фотография?

— Ага. Кажется, с лета мы большего и не видели. — Мама поднимает брови и смотрит на меня искоса — так она «заглядывает в душу».

— Это да, — отвечаю я, невольно вздыхая.

«Звездопад», так называется группа Адама, быстро набирает популярность, и это прекрасно по большей части.

— Ах, слава молодым не впрок, — изрекает папа, но при этом улыбается. Я знаю, он очень рад за Адама. Даже горд.

Я пролистываю газету до календарного раздела. Там маленькая информационная врезка о «Звездопаде» с еще меньшей фотографией всей четверки, а рядом большая статья про «Бикини» и огромный снимок их вокалистки, панк-рок-дивы Брук Веги. О ребятах сказано только, что «местная группа «Звездопад» выступит на разогреве у «Бикини» на портлендском отрезке гастрольного тура звезд панк-рока по стране». В статье не упоминаются куда более важные для меня новости: вчера вечером «Звездопад» был хедлайнером в одном из клубов Сиэтла и, судя по эсэмэске, которую Адам прислал мне в полночь, собрал полный зал.

— Едешь сегодня? — спрашивает папа.

— Собиралась. Если весь штат не парализует из-за снега.

— И в самом деле, ведь надвигается метель, — папа указывает на одинокую снежинку, неторопливо плывущую к земле.

— Еще я, кажется, буду репетировать с каким-то пианистом из университета, его профессор Кристи где-то откопала.

Профессор Кристи, университетская преподавательница музыки на

пенсии, у которой я занимаюсь последние несколько лет, все время ищет новые жертвы — с кем я могла бы сыграть.

«Держи себя в форме, и ты еще покажешь всем этим снобам из Джульярда, ^[2] что значит настоящее исполнение», — говорит она.

Я еще не поступила в Джульярд, но прослушивание прошло чрезвычайно удачно. И баховская сюита, и Шостакович лились из меня так, как никогда прежде, — будто мои пальцы стали живым продолжением струн и смычка. Когда я закончила играть — тяжело дыша и с дрожью в ногах, оттого что слишком сильно их сжимала, — один из членов комиссии даже похлопал, а это, как мне кажется, случается не так уж часто.

Когда я выползла за дверь, тот же самый экзаменатор сказал мне, что их консерватория давно «не видела деревенских девочек из Орегона». Профессор Кристи сочла это добрым знаком и уже не сомневалась в моем зачислении, в отличие от меня. К тому же я и сама толком не знала, хочу я этого или нет. Как и стремительный взлет группы Адама, мое поступление в Джульярд, если оно, конечно, состоится, создаст некоторые сложности или, точнее, усугубит те, что возникли в последние несколько месяцев.

— Я хочу еще кофе, кто со мной? — спрашивает мама, нависая надо мной с древней кофеваркой.

Я вдыхаю аромат кофе — густого, черного, французской масляной обжарки, как мы все любим. Один только запах меня уже бодрит.

— Я-то подумываю, не пойти ли еще поспать, — говорю я. — Виолончель в школе. Так что я даже позаниматься не могу.

— Не будешь заниматься? Целых двадцать четыре часа?! «Молчи, молчи, разбитая душа», ^[3] — восклицает мама. Хотя она и приобрела с годами некоторый вкус к классической музыке — «с этим как с вонючими сырами: постепенно начинаешь разбираться», — но невольное прослушивание моих марафонских репетиций не всегда приводит ее в восторг.

Со второго этажа доносится лязг и грохот: Тедди лупит по своей барабанной установке. Вообще-то она папина — была когда-то, когда он играл в широко известной в узких кругах жителей нашего городка группе и работал в музыкальном магазине.

Я вижу папину довольную улыбку и чувствую привычный укор совести. Знаю, это глупо, но меня всегда мучил вопрос, не расстроен ли папа, что я не пошла в рок-музыку. В общем-то, я и собиралась, но в третьем классе на уроке музыки вдруг увидела виолончель, и она показалась мне совершенно живой. Казалось, если на ней играть, она

откроет множество секретов, так что я начала учиться. Прошло уже почти десять лет, а я все продолжаю.

— Слишком шумно, чтобы спать, — перекрикивает мама грохот барабанов.

— А знаете что, — говорит папа, попыхивая трубкой, — снег-то уже тает.

Я иду к задней двери и выглядываю наружу. Сквозь облака пробилось солнце, и слышен шорох тающего льда. Я закрываю дверь и возвращаюсь к столу, замечая:

— Похоже, округ погорячился.

— Возможно, но отменить отмену школы уже нельзя. Что сделано, то сделано, я уже взяла выходной, — радуется мама.

— Именно. Но мы можем извлечь пользу из этого неожиданного подарка судьбы и куда-нибудь поехать, — предлагает папа. — Прокатимся. Навестим Генри с Уиллоу.

Генри и Уиллоу — давние друзья родителей из музыкальной тусовки; у них тоже появился ребенок, и они решили начать вести себя как взрослые. Живут они в большом старом фермерском доме. Генри приспособил сарай под домашний офис и занимается там компьютерным дизайном, а Уиллоу работает в ближайшей больнице. У них маленькая дочка. Именно она — истинная причина, по которой мама с папой хотят туда поехать. Тедди только что исполнилось восемь, мне семнадцать, а значит, из нас уже давно выветрился тот кисловатый молочный запах, от которого так млеют взрослые.

— А на обратном пути можем заглянуть в «БукБарн». — Похоже, мама меня заманивает.

«БукБарн» — это огромный пыльный старый магазин подержанных книг. В дальнем углу у них сложены двадцатипятицентовые записи классической музыки, которые, кажется, никто, кроме меня, никогда не покупал. А я прячу целую гору их под кроватью. Коллекция классической музыки — не то, о чем станешь рассказывать всем и каждому.

Я показала ее Адаму, но только после того, как мы пробыли вместе пять месяцев. Я думала, он будет смеяться. А как же иначе — такой крутой парень, в зауженных джинсах, черных полукедах, с полным набором грамотно потрепанных панк-рокерских футболок и с изысканными татуировками на теле. Он совсем не из тех, кто обращает внимание на таких, как я. Вот почему два года назад, впервые поймав его взгляд в школьной музыкальной студии, я была совершенно уверена, что Адам потешается надо мной, и старалась не попадаться ему на глаза. Как бы там

ни было, но смеяться он не стал. Оказалось, у него под кроватью пылится коллекция панк-рока.

— А еще можно заскочить на полдник к бабушке с дедушкой, — говорит папа, уже протягивая руку к телефону. — Потом вернемся, и у тебя останется куча времени, чтобы добраться до Портленда, — добавляет он, набирая номер.

— Я за, — соглашаюсь я.

Дело вовсе не в притягательности «БукБарна» и не в том, что Адам на гастролях, а моя лучшая подруга Ким занята подготовкой выпускного фотоальбома. И даже не в том, что моя виолончель в школе и мне выдалась возможность остаться дома, посмотреть телевизор или поспать. Я и в самом деле с удовольствием куда-нибудь съезжу со своей семьей. О таком тоже не рассказывают всем подряд, но Адам понимает меня и в этом.

— Тедди, — зовет папа. — Собирайся. Мы отправляемся на поиски приключений.

Тедди завершает барабанное соло лязгом тарелок. Минутой позже он влетает в кухню в полной боевой готовности, как будто натягивал одежду, сбегая по крутым деревянным ступенькам нашего щелястого викторианского дома.

— «Школа закрылась на лето...» ^[4] — поет он.

— Элис Купер? — вопрошает папа. — Ужели мы так низко пали? Пой хотя бы «Рамонз». ^[5]

— Школа закрылась навсегда, — продолжает Тедди, не обращая внимания на протесты папы.

— Вечный оптимист, — шучу я.

Мама смеется и ставит на кухонный стол тарелку слегка подгорелых оладий.

— Налетай, семейство.

08:17

Мы втискиваемся в машину — ржавенький «бьюик», который уже был стар, когда бабушка отдала его нам после рождения Тедди. Родители предлагают мне повести, но я отказываюсь. За руль проскальзывает папа. Теперь ему нравится водить машину, а многие годы он упорно отказывался получать права и повсюду разъезжал на велосипеде. Когда он играл в группе, его нелюбовь к вождению означала, что во время гастролей за рулем постоянно торчали его друзья музыканты. Они только глаза закатывали от папиного упрямства. Мама на этом не остановилась: она канючила, упрашивала, иногда орала, чтобы он получил права, но папа отстаивал свою любовь к pedalной тяге.

— Что ж, тогда тебе следует построить велосипед для семьи из трех человек, причем с защитой от дождя, — заявляла мама. В ответ на это папа всегда смеялся и говорил, что уже почти придумал его.

Но когда мама забеременела Тедди, то настояла на своем — хватит, сказала она. И папа, видимо, понял: что-то изменилось. Он перестал спорить и сдал на права. Он также вернулся к учебе, чтобы получить сертификат на преподавание. Полагаю, с одним ребенком еще можно было оставаться не совсем взрослым, но с двумя пришло время расти — время носить галстук-бабочку.

Галстук-бабочка на папе и сегодня, а также пестрая спортивная куртка и винтажные рокерские ботинки.

— Я смотрю, ты приделся ради снега, — замечаю я.

— Я как почта, — отвечает папа, счищая с машины снег пластмассовым динозавром Тедди — одним из тех, что разбросаны по газону. — Ни слякоть, ни дождь, ни полдюйма снега не заставят меня вырядиться как дровосек.

— Эй, мои предки были дровосеками, — предостерегающим тоном заявляет мама. — Не смей глумиться над бедными лесными жителями, пусть они и были голь пережатая.

— Даже и не думал, — отвечает папа. — Просто подчеркиваю стилистический контраст.

Папа несколько раз поворачивает ключ зажигания, и только тогда машина оживает. Как обычно, начинается борьба за музыку. Мама хочет слушать радио «Эн-пи-ар», папа — Фрэнка Синатру, а Тедди — музыку из мультика про «Губку Боба». ^[6] Я хочу классику, но, понимая, что, кроме

меня, в нашей семье любителей нет, готова согласиться на «Звездопад».

Папа предлагает сделку.

— Раз уж мы все сегодня не пошли в школу, то нам просто необходимо немного послушать новости, чтобы не стать невеждами...

— По-моему, нужно говорить «невежами», — перебивает мама.

Папа закатывает глаза, сжимает мамину руку и по-учительски откашливается.

— Так вот, я говорю: сначала «Эн-пи-ар», а потом, когда новости кончатся, классическая волна. Тедди, тебя мы этим пытаться не будем, можешь слушать «Дискмен». — И папа начинает отсоединять переносной плеер от автомобильного радиоприемника. — Но включать Элиса Купера в моей машине нельзя, я это запрещаю. — Папа лезет в бардачок, проверить, что там есть из музыки. — Как насчет Джонатана Ричмена? [7]

— Я хочу «Губку Боба», он уже там, — верещит Тедди, подпрыгивая и указывая на плеер. Шоколадные оладьи с сиропом явно только усилили его возбуждение.

— Сынок, ты разбиваешь мне сердце, — хмыкает папа. Мы с Тедди оба были воспитаны на бесхитростных песнях Джонатана Ричмена, святого музыкального покровителя мамы с папой.

Музыка выбрана, и мы отъезжаем. Кое-где на дороге попадаются пятна снега, но по большей части она просто мокрая. Что ж, это Орегон — дороги всегда мокрые. Мама обычно шутит, что именно на сухой дороге люди попадают в беду:

— Наглеют, забывают об осторожности и гонят как ненормальные. А у копов в такой день прямо праздник по выписыванию штрафов за превышение.

Я прислоняюсь головой к окну, глядя, как мимо проносится живая картина: темно-зеленые ели, чуть припорошенные снегом, клочковатые полосы белого тумана, и надо всем этим тяжелые серые тучи. В машине так тепло, что стекла запотевают, и я рисую на них загогулины.

Когда новости заканчиваются, мы переключаемся на классическую радиостанцию. Я слышу первые аккорды Третьей виолончельной сонаты Бетховена — того самого произведения, над которым мне следовало бы работать днем, — и меня накрывает ощущение некой вселенской гармонии. Я сосредотачиваюсь на музыке, представляя, будто играю; мне приятно, что выдалась возможность позаниматься, и радостно ехать в теплой машине вместе с семьей и моей сонатой. Я закрываю глаза.

Не ожидаешь, что радио после такого будет продолжать работать. Но оно работает.

Машина раскурочена. Удар четырехтонного грузовика на скорости шестьдесят миль в час пришелся прямо в пассажирскую сторону с силой атомной бомбы. Он оторвал двери, выбросил переднее пассажирское сиденье через водительское окно; смахнул ходовую часть, закинув ее за дорогу, и в клочья разодрал мотор, будто легкую паутинку. Он отбросил колеса с колпаками далеко в лес и поджег обломки бензобака, так что на мокрой дороге теперь плещутся крошечные язычки пламени.

Шум был чудовищный. Симфония скрежета, хор хлопков, ария взрыва и наконец заунывный лязг железных листов, врезавшихся в стволы деревьев. Потом все стихло, кроме одного: Третьей виолончельной сонаты Бетховена — она по-прежнему звучит. Радио в машине каким-то чудом не оторвалось от аккумулятора, и в безмятежной тишине февральского утра разливается Бетховен.

Сначала я думаю, что все в порядке. Во-первых, я по-прежнему слышу сонату. Во-вторых, я стою здесь, в кювете у обочины. Я оглядываю себя: все, что я надела сегодня утром — и джинсовая юбка, и шерстяной джемпер, и черные ботинки, — выглядит точно так же, как когда мы выехали из дома.

Я взбираюсь на дорогу, чтобы получше разглядеть машину. Только это больше не машина, а голый металлический скелет, без сидений, без пассажиров. Значит, остальных наверняка выбросило, как и меня. Я отряхиваю руки о юбку и иду вдоль шоссе искать родных.

Первым я вижу папу. Даже с расстояния нескольких метров заметно, как карман его пиджака оттопыривается от трубки.

— Папа, — зову я и иду к нему, но дорога вдруг становится скользкой, на ней появляются какие-то серые ломти, похожие на цветную капусту.

Я понимаю, что сейчас вижу, но это почему-то не связывается сразу с отцом. В памяти всплывают только новостные репортажи о торнадо или пожарах — о случаях, когда один дом разносит в щепки, а другой, совсем рядом, стоит целый и невредимый. Мозги моего отца на асфальте, но его трубка по-прежнему лежит в левом нагрудном кармане.

Потом я нахожу маму. На ней почти нет крови, но губы уже посинели, а белки глаз совершенно красные, как у вурдалака из малобюджетного ужастика. Она кажется совершенно ненастоящей. И оттого, что мама похожа на какого-то нелепого зомби, я чувствую, как к сердцу подступает страх.

«Нужно найти Тедди. Где же он?»

Я оборачиваюсь, внезапно перепугавшись, как в тот раз, когда на десять минут потеряла его в гастрономе. Я была уверена, что его похитили.

Конечно же, оказалось, что он убрел инспектировать кондитерский отдел. Когда я нашла брата, то не знала, обнимать его или ругать.

Я бросаюсь к кювету, из которого только что вылезла, и вижу торчащую оттуда руку.

— Тедди! Я тут! — кричу я. — Давай тянись, я сейчас тебя вытащу.

Но, подбежав ближе, замечаю металлический блеск серебряного браслета с подвесками в виде виолончели и гитары. Адам подарил мне его на семнадцатый день рождения. Это мой браслет, он был на мне сегодня утром. Я смотрю на свое запястье: он по-прежнему на мне.

Я медленно подхожу еще ближе и наконец понимаю, что там лежит не Тедди. Это я. Кровь из груди пропитала рубашку, юбку и джемпер и теперь пятнает девственно-белый снег, словно капли краски. Одна нога торчит под неестественным углом; кожа и мышцы разошлись, и я вижу белые проблески кости. Мои глаза закрыты, темные волосы промокли и покрылись кровавой коркой.

Я резко отворачиваюсь. Это неправильно. Такого не может быть. Мы ведь поехали покататься. Это все нереально. Я, наверное, просто заснула в машине.

«Нет! Хватит. Пожалуйста, хватит. Проснись же!» — визжу я в морозный воздух.

Холодно, от моего дыхания должен идти пар — но его нет. Я перевожу взгляд на свое запястье — то, на котором нет крови и грязи, щипаю его как можно сильнее.

И не чувствую ничего.

Раньше у меня бывали кошмары: мне снились концерты, на которых я никак не могла вспомнить пьесу, или разрыв с Адамом, но я всегда могла приказать себе проснуться, поднять голову от подушки, прервать фильм ужасов, который крутился под закрытыми веками. Я пробую снова:

«Проснись! — кричу я. — Проснись! Проснись! Проснись!» Но не могу, не просыпаюсь.

Потом я что-то слышу. Музыка, я по-прежнему слышу музыку — и сосредотачиваюсь на ней. Я перебираю пальцами, будто играю Третью виолончельную сонату Бетховена на невидимом инструменте — я часто так делаю, когда слушаю произведения, над которыми работаю. Адам называет это «воздушной виолончелью». Он все время спрашивает, сможем ли мы когда-нибудь сыграть дуэтом — он на воздушной гитаре, а я на воздушной виолончели.

«А потом можно будет расколотить наши воздушные инструменты, — шутит он. — Вот увидишь, тебе захочется».

Я играю, фокусируюсь только на этом, пока в машине не умирает последняя частичка жизни и музыка не уходит вместе с ней.

Вскоре слышатся сирены.

09:23

«Я что, умерла?»

Похоже, уже пора спросить себя об этом.

«Я мертва?»

Поначалу мне казалось очевидным, что так и есть. А мое пребывание здесь — лишь пауза перед ярким светом и «всей жизнью, проносющейся перед глазами», после чего я отправлюсь куда-нибудь еще.

Вот только уже подъехала «скорая помощь», а с ней полиция и пожарные. Кто-то накрыл моего папу простыней; пожарный застегивает маму в пластиковый мешок. Я слышу, как он говорит о ней с другим пожарным — тому на вид не больше восемнадцати. Опытный объясняет новичку, что маму, скорее всего, ударило первой и убило мгновенно, этим-то и объясняется отсутствие крови.

— Мгновенная остановка сердца, — говорит он. — Если сердце не работает, нельзя истечь кровью: она не течет, а едва сочится.

Я не могу думать о том, что из мамы сочится кровь. Вместо этого я отмечаю, как все правильно получилось: ее ударило первой, так что она заслонила собой нас. Конечно, это произошло случайно, но вполне в мамином стиле.

Но я-то, я-то мертва? Та я, которая лежит на краю дороги, свесив ногу в кювет, окружена группой мужчин и женщин, с бешеной скоростью суеющихся вокруг моего тела и втыкающих неведомо что в мои вены. Я полураздета: врачи «скорой» вспороли мою рубашку. Одна грудь оголилась. Я отворачиваюсь в замешательстве и смущении.

Полиция зажгла аварийные фонари вокруг места происшествия и просит водителей с обеих сторон поворачивать назад: трасса перекрыта. Полицейские вежливо предлагают маршруты объезда, проселочные дороги, по которым люди смогут добраться туда, куда им нужно.

Наверняка им есть куда спешить, этим людям в машинах, но многие из них не поворачивают назад. Они выбираются из салонов, обхватывают себя руками, чтобы не замерзнуть, и разглядывают аварию. Потом они отворачиваются, некоторые плачут, одну женщину рвет в придорожные кусты. И хотя эти люди не знают, кто мы и что случилось, они молятся за нас. Я чувствую, как они молятся.

Это также подталкивает меня к мысли, что я мертва. Кроме того, мое тело выглядит совершенно неподвижным и бесчувственным — а ведь, судя

по моему виду, по ноге, которую на скорости шестьдесят миль в час асфальтовая терка ободрала до кости, я должна страдать от адской боли.

И я даже не плачу, хоть и знаю, что с моей семьей случилось нечто невыносимое. Мы теперь как Шалтай-Болтай: и вся королевская конница, и вся королевская рать не смогут нас снова собрать.

Я обдумываю все это, когда рыжеволосая веснушчатая женщина-врач, трудящаяся надо мной, отвечает на мой вопрос.

— Кома по шкале Глазго — восемь. Даем кислород, сейчас же! — кричит она.

Она и санитар с очень худым лицом проталкивают мне в горло трубку, присоединяют к ней подушку с клапаном и начинают качать кислород.

— За сколько долетит «Лайф-флайт»? ^[8] — спрашивает врач.

— За десять минут, — отвечает санитар. — А до города двадцать.

— Мы довезем ее за пятнадцать, если будешь гнать как чертов псих.

Я догадываюсь, о чем думает санитар: если они разобьются, то мне от этого пользы не будет, — и невольно соглашаюсь. Но он ничего не говорит, только стискивает зубы. Меня грузят в машину «скорой помощи»; рыжая садится сзади, со мной. Одной рукой она ритмично сжимает кислородную подушку, а другой поправляет на мне капельницу и кардиомониторы. Затем она убирает прядь волос с моего лба и говорит мне: — Держись.

* * *

Впервые я выступала, когда мне было десять; к тому моменту я играла на виолончели уже два года. Сначала я занималась прямо в школе, в рамках образовательной программы по музыке. Мне здорово повезло, что у нас вообще нашлась виолончель: они очень дороги и хрупки. Но какой-то старенький профессор литературы из университета перед смертью завещал свой «Гамбург» нашей школе. В основном инструмент торчал в углу — большинство детей хотели учиться играть на гитаре или саксофоне.

Когда я заявила маме с папой, что собираюсь стать виолончелисткой, они оба расхохотались. Позже они извинялись за это, объясняя, что заржать их вынудила картина маленькой меня с огромным инструментом между тощих ног. Как только они поняли, что я серьезно, то немедленно проглотили свои смешки и нарисовали на лицах одобрение и поддержку.

Однако реакция родителей ранила меня — я никогда им не рассказывала, как именно, и не уверена, что они бы поняли, даже если бы я

рассказала. Папа иногда шутил, что больница, где меня родили, должно быть, случайно подменила младенцев, потому что внешне я совсем не похожа на остальных членов семьи. Они все светловолосые и светлоглазые, а я как их негатив: темные волосы и темные глаза. Но когда я подросла, шутка про больницу приобрела новый смысл — наверняка не тот, что вкладывал папа. Иногда я и вправду ощущала себя пришельцей из другого племени. Я не походила ни на общительного ироничного отца, ни на шептунную тусовщицу маму. И будто в подтверждение, я, вместо того чтобы пойти учиться играть на электрогитаре, взяла и выбрала виолончель.

К счастью, в моей семье музыка была важнее, чем ее жанр, и, когда через пару месяцев стало ясно, что моя любовь к виолончели не мимолетна, родители взяли мне инструмент напрокат, чтобы я могла заниматься и дома. Нудные гаммы и трезвучия привели к первым попыткам изобразить «Twinkle, Twinkle, Little Star», ^[9]потом они уступили место простейшим этюдам, пока наконец я не начала играть сюиты Баха. В моей средней школе музыкальная программа была не особенно сильной, так что мама нашла мне учителя-студента, который приходил раз в неделю. В течение нескольких лет студенты, учившие меня, все время сменялись, а когда мои умения превосходили их, играли вместе со мной.

Так продолжалось до девятого класса, когда папа, знакомый с профессором Кристи со времен работы в музыкальном магазине, спросил, не захочет ли она давать мне частные уроки. Профессор согласилась меня послушать; как она позже мне сказала, не ожидая многого, просто из любезности. Они с папой сидели внизу и слушали, как я в своей комнате репетировала сонату Вивальди. Когда я спустилась к ужину, профессор Кристи предложила взять мое обучение в свои руки.

Однако первое мое сольное выступление случилось задолго до нашего знакомства с ней. Это произошло в нашем городке, в зале, где обычно играли начинающие местные группы, так что для неподзвученного классического инструмента акустика там была отвратительная. Я играла виолончельное соло из «Танца феи Драже» Чайковского.

Стоя за сценой и слушая, как другие дети исполняют свои пьесы на визгливых скрипочках и громохочущем пианино, я чуть не сбежала с перепугу. Я выскочила в служебную дверь и скорчилась на крыльце снаружи, бешено дыша себе в ладони. Мой учитель-студент не на шутку испугался и послал розыскную партию.

Нашел меня папа. Он тогда еще только начинал преобразаться из битника в консерватора, так что на нем был старомодный костюм с кожаным поясом в заклепках и черные низкие сапоги.

— Ты тут как, Мия-вот-те-на, нормально? — спросил он, садясь рядом со мной на ступеньки.

Я помотала головой, слишком пристыженная, чтобы говорить.

— А что такое?

— Я не могу, — разрыдалась я.

Папа вскинул лохматые брови и вперил в меня серо-голубые глаза. Я почувствовала себя каким-то чужестранным животным неведомой породы, которое изучают и пытаются понять. Сам-то папа всю жизнь выступал со всякими группами. Наверняка у него никогда не бывало такой ерунды, как страх сцены.

— Ну, это было бы обидно, — сказал папа. — У меня для тебя роскошный концертный подарок, куда лучше цветов.

— Отдай его кому-нибудь другому. Я не могу выйти туда. Я не такая, как вы с мамой или даже Тедди.

Тедди к тому моменту едва исполнилось полгода, но уже стало ясно, что в нем больше огня и энергии, чем когда-либо будет во мне. И конечно же, он был белокурый и голубоглазый — да и в любом случае, родился он в родильном центре, а не в больнице, так что его уж никак не могли перепутать.

— И то верно, — задумчиво пробормотал папа. — Когда Тедди закатил свой первый концерт на губной гармошке, он был спокоен как удав. Просто чудо какое-то.

Я засмеялась сквозь слезы. Папа мягко обнял меня за плечи.

— Знаешь, меня перед каждым концертом жуткий мандраж разбирал.

Я недоверчиво взглянула на папу — мне всегда казалось, что он-то всегда и во всем уверен на сто процентов.

— Это ты нарочно так говоришь.

Он покачал головой.

— Нет, не нарочно. Прямо ужас что бывало. А ведь я барабанщик и всегда сидел сзади. Никто и внимания на меня не обращал.

— И что ты делал? — спросила я.

— Назююкивался, — просунув голову в дверь, сообщила мама. На ней красовались черная виниловая мини-юбка, красная майка и Тедди, радостно пускающий слюни в своей «кенгурушке». — Выпивал пару литров пива перед концертом. Тебе я это не рекомендую.

— Пожалуй, твоя мама права, — согласился папа, — социальные службы не одобряют пьяных десятилеток. Кроме того, я тогда кидался палочками и заблевывал сцену, но там-то был панк. А если ты швырнешь в зал смычок да еще будешь вонять, как пивзавод, получится неловко и

неуместно. Твои приятели-классики такие снобы в этом вопросе.

Я рассмеялась. Мне все еще было страшно, но мысль о том, что, возможно, страх сцены я унаследовала от папы, утешала: все-таки я никакой не подкидыш.

— А что, если я запутаюсь? Если совсем ужасно сыграю?

— У меня для тебя новости, Мия. Здесь и так полно всяких ужасов, так что ты не слишком выделишься на общем фоне, — заявила мама.

Тедди взвизгнул в знак согласия.

— Ну правда, как ты справляешься с мандражом?

Папа по-прежнему улыбался, однако я поняла, что теперь он стал серьезен, потому что заговорил медленнее:

— Да никак. Просто играешь, несмотря на страх. Просто держишься.

И я вышла на сцену. Я не блеснула своей игрой, не снискала славы, не сорвала стоячую овацию, но и не провалила все на свете. И после концерта я получила свой подарок: устроившийся на пассажирском сиденье машины, он выглядел таким же человекоподобным, как та виолончель, к которой меня потянуло два года назад. И этот инструмент был не из проката — он принадлежал мне.

10:12

Когда «скорая» подъезжает к ближайшей больнице — не той, что в моем родном городке, а к маленькому местному медицинскому центру, больше похожему на обычный старый дом, — врачи тут же вкатывают меня внутрь.

— У нас тут открытый пневмоторакс. Установите ей плевральный дренаж и давайте обратно! — кричит симпатичная рыжая докторша, передавая меня группе врачей и медсестер.

— Где остальные? — спрашивает бородач в медицинской форме.

— У второго водителя легкое сотрясение, ему оказали помощь на месте. Родители найдены мертвыми. Мальчик, около семи лет, едет сразу за нами.

Я выдыхаю — так, будто не дышала последние двадцать минут. Увидев себя в том кювете, я уже не смогла искать Тедди. Если с ним то же, что с мамой и папой, со мной, то я... я не хотела даже думать об этом. Но нет, он жив.

Меня привозят в маленькую комнатку с ярким светом. Врач смазывает чем-то оранжевым мою грудь сбоку, а затем засовывает в меня маленькую трубку. Другой врач светит мне фонариком в глаза.

— Реакции нет, — говорит он медсестре. — Вертушка уже здесь. Везите ее в травму. Живо!

Меня быстро выкатывают из пункта экстренной помощи и завозят в лифт. Чтобы не отстать, мне приходится бежать. Двери закрываются, но я успеваю заметить, что здесь Уиллоу. Это странно: мы ведь собирались застать их с Генри и дочкой дома. Ее вызвали из-за снега? Из-за нас? Уиллоу спешит по больничному коридору, на ее лице застыла маска сосредоточенности. Вряд ли она уже знает, что это мы. Она, может быть, даже звонила, оставляла сообщение на мамином сотовом, извиняясь, что возник срочный вызов и, когда мы приедем, ее не будет дома.

Лифт открывается прямо на крышу. Вертолет ждет в центре большого красного круга, посвистывая крутящимися лопастями.

Я никогда раньше не бывала в вертолете. А моя лучшая подруга Ким была — однажды она пролетела над горой Святой Елены со своим дядей, крутым фотографом из «Нэшнл джиографик».

— Он всю дорогу разглагольствовал о поствулканической флоре, а меня стошнило прямо на него, — рассказала мне Ким на следующий день в

школе. От переживаний она все еще казалась слегка зеленоватой.

Ким делает ежегодный альбом выпускников и надеется стать фотографом. Дядя взял ее в этот полет исключительно по доброте душевной, чтобы помочь прорасти юному таланту.

— Я даже попала на его камеры, — сокрушалась Ким. — Теперь я никогда не стану фотографом.

— Бывают же разные фотографии, — возразила я, — тебе не обязательно будет все время летать на вертолетах.

Ким рассмеялась.

— И прекрасно, потому что я никогда в жизни больше не сяду в вертолет — и тебе не советую!

Сейчас мне очень хочется сказать Ким, что иногда выбора нет.

Люк вертолета открыт, и мою каталку со всеми трубками и проводами загружают внутрь. Санитар устраивается рядом со мной, по-прежнему сжимая и отпуская маленький пластиковый баллон, который, видимо, дышит за меня. Как только мы взлетаем, я понимаю, почему Ким так затошнило. В вертолете все иначе, чем в самолете, который летит прямо и быстро, как снаряд. Вертолет куда больше похож на хоккейную шайбу, которую болтает по небу: вверх, вниз, из стороны в сторону. Я не представляю, как эти люди еще могут заниматься мной, читать распечатки с маленького компьютера, управлять машиной, одновременно обсуждая мое состояние через наушники — как они могут делать хоть что-то, когда вертолет так бултыхается.

Вертолет попадает в воздушную яму, и, по всему, меня должно бы затошнить. Но я — по крайней мере, я — наблюдательница — ничего не чувствую. И та я, что на каталке, видимо, тоже ничего не чувствует. Я снова невольно задумываюсь, мертва я или жива, но тут же говорю себе: нет. Меня не стали бы грузить в этот вертолет, не летели бы со мной над дикими лесами, если бы я была мертва.

Кроме того, мне нравится думать, что, будь я мертва, мама с папой уже бы меня нашли.

На приборной доске я вижу часы; сейчас десять тридцать семь. Я гадаю, что происходит там, на земле. Поняла ли Уиллоу, кто срочный пациент? Позвонил ли кто-нибудь моим бабушке с бабушкой? Они живут в соседнем городке, и я собиралась с ними обедать. Дедушка рыбачит и сам коптит лососей и устриц, и мы бы, наверное, ели их вместе с бабушкиным плотным темным хлебом, замешенным на пиве. Затем бабушка отвезла бы Тедди к огромным городским мусорным бакам, чтобы он смог поискать журналы. В последнее время братишка увлекся «Ридерз дайджест», ему

нравится вырезать оттуда комиксы и картинки и составлять коллажи.

Интересно, что сейчас делает Ким? Занятий сегодня нет. Я, может, не приду в школу и завтра. Наверное, она подумает, что я задержалась в Портленде, слушая Адама и «Звездопад», и не успела вернуться.

Портленд. Я совершенно уверена, что меня везут туда. Пилот вертолета говорит со службой парамедиков. За окном видны размытые очертания пика Маунт-Худ. Значит, Портленд уже близко.

Интересно, Адам уже там? Вчера вечером он играл в Сиэтле, но после концерта он всегда кипит от адреналина, а езда на машине помогает ему успокоиться. Музыканты из группы обычно рады-радешеньки усадить его за руль, пока сами дремлют. Если Адам уже в Портленде, он, наверное, еще спит. Когда он проснется, может быть, нам выпить кофе на Хоторн-стрит? Или погулять по Японскому саду? Мы так сделали в последний раз, когда вместе приезжали в Портленд, только тогда было теплее. Во второй половине дня группа, скорее всего, отправится на саунд-чек. А потом Адам выйдет ждать меня. Сначала он подумает, что я опаздываю. Как ему узнать, что на самом деле я приехала раньше? Что я попала в Портленд еще утром, до того, как растаял снег?

* * *

— Ты что-нибудь знаешь про такого парня: Йо-Йо Ма? — спросил меня Адам.

Дело было весной моего десятого класса, который для него был одиннадцатым. К этому времени Адам наблюдал за моими занятиями в музыкальном крыле уже несколько месяцев. Наша школа была обычной государственной, но прогрессивной — одной из тех, о которых все время пишут в национальных журналах, с упором на гуманитарные науки и искусство. У нас было много свободных часов, чтобы рисовать в мастерской или заниматься музыкой. Я свои проводила в звукоизолированных кабинках-студиях музыкального крыла. Адам тоже часто приходил туда с гитарой — не электрической, на которой играл в своей группе, а акустической, и просто наигрывал всякие мелодии.

Я закатила глаза.

— Да все знают Йо-Йо Ма.

Адам ухмыльнулся, и я впервые заметила, что улыбка у него кривоватая: вверх полз только один уголок рта. Он ткнул большим пальцем,

украшенным кольцом, в сторону школьного двора.

— Не думаю, что ты найдешь там пять человек, которые слышали бы о Йо-Йо Ма. И кстати, что это за имя? Трущобный жаргон какой-то? Йо-Мама?

— Оно китайское.

Адам помотал головой и хмыкнул.

— Я знаю кучу китайцев. У них имена типа Вей Чинь. Или Ли-чего-то-там. Но не Йо-Йо Ма.

— Как ты можешь издеваться над мастером, — возмутилась я. Но потом, неожиданно для себя, расхохоталась. Только через пару месяцев я поверила, что Адам не насмехается надо мной, и с тех пор мы иногда вот так перекидывались словечком в коридоре.

Но его внимание по-прежнему обескураживало меня.

Не то чтобы Адам считался особенно популярным парнем: не спортсмен, не диск-жокей. Но он был крут — потому что играл в группе с людьми, учившимися в городском университете. Крут потому, что рокерски стильно одевался в добытое на гаражных распродажах и в секонд-хендах, а не в подделки от «Урбан аут-фиттерс». ^[10] Крут и в том, что выглядел абсолютно счастливым, когда сидел в столовой, с головой погружившись в книгу, а не только притворяясь читающим, потому что ему некуда или не с кем сесть. Только не в его случае — у Адама была небольшая группа друзей и огромная толпа почитателей.

И не то чтобы я сама была «унылой заучкой». У меня были приятели и лучшая подруга, с которой мы сидели за обедом. Другие хорошие друзья ждали меня в консерваторском музыкальном лагере, куда я ездила летом. Ко мне все нормально относились, правда, совсем не понимали. В классе я вела себя тихо; не часто поднимала руку и не грубила учителям. И я почти все время была занята: то репетировала, то играла в струнном квартете, то слушала лекции по теории музыки в местном университете. Одноклассники вели себя со мной довольно мило, но зачастую относились как ко взрослой, будто я еще одна училка. А с учителями не флиртуют.

— А вот что бы ты сказала, если бы у меня были билеты на мастера? — В глазах Адама заплясали огоньки.

— Да брось. Нету у тебя, — возразила я, отпихнув его чуть сильнее, чем намеревалась.

Адам изобразил, что отлетает и падает на стеклянную стену. Потом картинно отряхнулся.

— А вот и есть. В какой-то «Шницель» в Портленде.

— «Арлин Шнитцер холл», [\[11\]](#) он принадлежит симфоническому оркестру.

— Ага, тот самый. У меня есть билеты, целых два. Тебе интересно?

— Ты что, серьезно? Конечно! Я безумно хотела пойти, но это стоит чуть ли не восемьдесят баксов. Погоди, а где ты взял билеты?

— Друг семьи подарил моим родителям, а они не могут пойти. Ничего особенного, — выпалил Адам. — В общем, это в пятницу вечером. Если хочешь, я заскочу за тобой после половины шестого и поедем в Портленд вместе.

— Ладно, — сказала я, как будто все это было совершенно обычным делом.

Однако к полудню пятницы я нервничала куда больше, чем после того, как прошлой зимой, готовясь к экзаменам, нечаянно выпила целый кофейник папиного крепчайшего кофе.

Нервничала я не из-за Адама: за это время я уже вполне освоилась в его обществе — а от неопределенности. Что это вообще такое? Свидание? Дружеская любезность? Акт благотворительности? Я не любила ступать на зыбкую почву — не больше, чем разбирать новые пьесы. Вот почему я занималась так много: чтобы обрести под ногами твердую землю, а потом уже работать над мелочами.

Я переодевалась раз шесть. Тедди, тогда еще дошколенок, сидел в моей комнате, таская с полок комиксы про Кальвина и Гоббса [\[12\]](#) и притворяясь, что читает. Он покатывался со смеху, хотя было не очень понятно, веселят его проделки Кальвина или мои метания.

Мама просунула голову в дверь, чтобы посмотреть, как идут дела.

— Он просто парень, Мия, — сказала она, заметив, что я уже на взводе.

— Ага, просто первый парень, с которым я иду вроде бы на свидание, — огрызнулась я. — Так что я не знаю, одеваться мне как на свидание или как в филармонию. У нас туда вообще наряжаются как-нибудь особенно? Или мне лучше одеться как обычно, на тот случай, если это не свидание?

— Просто надень то, в чем хорошо себя чувствуешь, — предложила мама, — и убьешь всех зайцев сразу.

Наверняка мама на моем месте не колебалась бы ни секунды. На их с папой фотографиях из прошлого она выглядит как гибрид томной красотки из тридцатых годов и байкерши: озорная стрижка, большие голубые глаза, обведенные карандашом, и тощее как щепка тело, всегда облаченное во

что-нибудь вызывающе соблазнительное — к примеру, в старинную кружевную кофточку и облегающие кожаные штаны.

Я вздохнула: вот бы мне быть такой смелой. В конце концов, я выбрала длинную черную юбку и темно-бордовый свитер с короткими рукавами. Просто и четко — похоже, это мой фирменный стиль.

Когда появился Адам в строгом костюме с отливом и «криперсах» (это сочетание совершенно сразило папу), я поняла, что у нас и правда свидание. Могло, конечно, оказаться, что Адам просто решил одеться «как в филармонию», а для официальных случаев у него припасен классный костюм из шестидесятых, но я ощутила в этом нечто большее. Парень явно нервничал, когда пожимал руку моему папе и говорил, что у него есть диски папиной группы.

— Наверное, под пиво подставляешь, — пошутил папа.

Адам изрядно удивился — видимо, не привык, что родитель может быть ехиднее собственного ребенка.

— Только не сходите с ума, дети. На последнем концерте Йо-Йо Ма на танцполе были тяжелые травмы, — крикнула мама, когда мы уходили через газон к машине.

— У тебя такие крутые предки, — сказал Адам, открывая мне дверь.

— Я знаю, — ответила я.

Мы ехали в Портленд, болтая о всяких пустяках. Адам ставил мне песни групп, которые ему нравились: шведского поп-трио, звучавшего однообразно и скучновато, а потом каких-то исландцев, которые оказались весьма хороши. Мы немного заблудились в центре и приехали к концертному залу всего за несколько минут до начала.

Наши места были на балконе, на самом верху. Но на Йо-Йо Ма ходят не смотреть, а звучало все потрясающе. Этот человек умеет сделать так, что виолончель стонет, как плачущая женщина, — и тут же смеется, как ребенок. Слушая его, я всегда вспоминаю, почему сама начала играть на виолончели: есть в ней что-то невероятно, по-человечески душевное.

Когда начался концерт, я краем глаза поглядывала на Адама. Ему вроде бы все нравилось, но он продолжал смотреть в свою программку, вероятно считая минуты до антракта. Я беспокоилась, вдруг ему скучно, но скоро музыка совершенно увлекла меня.

Когда Йо-Йо Ма заиграл «Большое танго», Адам вдруг взял меня за руку. В любой другой ситуации получилось бы пошло: стандартный жест «скучно-так-хоть-полапаю». Но Адам не смотрел на меня. Его глаза были закрыты, он чуть покачивался в кресле. Он тоже с головой ушел в музыку. Я в ответ сжала его руку, и мы так и просидели весь концерт.

Потом мы купили кофе с пончиками и медленно пошли вдоль реки. Наползал туман, Адам снял пиджак и накинул мне на плечи.

— Ведь на самом деле эти билеты у тебя не от друга семьи? — спросила я.

Я думала, он рассмеется или вскинет руки в шутливом «сдаюсь», как он делал, когда я побеждала его в спорах. Но он посмотрел прямо мне в глаза, так что я разглядела переплетение зеленого, коричневого и серого в его радужках. Он покачал головой и признался:

— Это были двухнедельные чаевые за доставку пиццы.

Я остановилась. Было слышно, как внизу плещется вода.

— Почему? — спросила я. — Почему я?

— Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так погружался в музыку, как ты. Поэтому я и люблю смотреть, как ты занимаешься. У тебя появляется такая чудная складка на лбу, вот тут. — Адам коснулся моего лица над переносицей. — Я помешан на музыке, но даже мне так крышу не сносит, как тебе.

— И что? Я для тебя что-то типа социального эксперимента? — Я собиралась произнести это шутливо, но получилось зло и горько.

— Нет, ты не эксперимент, — возразил Адам сипло и сдавленно.

Я почувствовала, как жар заливает мне шею, поняла, что краснею, и уставилась на свои туфли. Я знала, Адам смотрит на меня, — так же точно, как то, что, если сейчас подниму на него глаза, он меня поцелует. И меня поразило, как сильно я хотела этого поцелуя и как часто, оказывается, о нем думала — настолько, что успела запомнить форму Адамовых губ, настолько, что мысленно проводила пальцем по ямочке на его подбородке.

Мои ресницы метнулись вверх. Адам ждал меня.

Так все и началось.

12:19

У меня куча всяких повреждений.

Судя по разговорам, открытый пневмоторакс, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение неясной этиологии и, самое серьезное, контузия головного мозга. И ребра сломаны. Содрана кожа на ногах, так что потребуется пересадка; и на лице, тут уже нужна будет косметическая хирургия — но, как отмечают врачи, все это понадобится только при удачном раскладе.

Прямо сейчас в операционной врачи удаляют мне селезенку, вставляют новую трубку для отсасывания жидкости из легкого и стараются найти, чем вызвано кровотечение, и остановить его. Однако для мозга моего они могут сделать не много.

— Просто подождем и посмотрим, — говорит один из хирургов, глядя на компьютерную томограмму моей головы. — А пока позвоните в банк крови. Нужны две дозы первой отрицательной сейчас и две про запас.

Первая отрицательная. Моя группа крови. А я и не знала. Видимо, раньше мне об этом думать не приходилось. Я никогда не бывала в больнице, если не считать того случая, когда я попала в травмпункт, порезав щиколотку разбитым стеклом. Тогда мне даже швов не накладывали, только сделали укол от столбняка.

В операционной врачи спорят, какую музыку поставить, прямо как мы в машине сегодня утром. Один хочет джаз, другой — рок, анестезиолог, стоящая у моей головы, требует классики. Я болею за нее, и это будто бы помогает: кто-то ставит диск Вагнера. Правда, браваурный «Полет валькирии» — не совсем то, чего мне хотелось. Я-то надеялась на что-нибудь полегче — «Времена года», например.

Операционная тесная, в ней полно людей и ослепительно ярких ламп, подчеркивающих неопрятность этого места. Ничего похожего на телешоу, где операционные выглядят как старинные театры, вмещающие и оперного певца, и публику. Пол, хотя и до блеска отполированный, весь в потертостях, царапинах и бурых потеках — полагаю, это засохшая кровь.

Кровь. Она повсюду. Докторов она несколько не беспокоит. Они режут, шьют и отсасывают прямо посреди красных потоков, как будто моют посуду в мыльной воде. В то же время мне в вены закачивается новая кровь.

Хирург, требовавший рока, сильно потеет. Одной из медсестер

приходится регулярно протирать ему лоб марлей, зажатой в щипцах. В какой-то момент пот проступает сквозь маску, и врачу приходится ее сменить.

У анестезиолога легкие, ласковые пальцы. Она сидит у моей головы, следя за показателями жизненных функций и регулируя количество вводимых мне жидкостей, газов и лекарств. Должно быть, у нее хорошо получается, потому что я, судя по всему, ничего не чувствую, хотя в моем теле копаются хирурги. Это кровавая и трудная работа, ничуть не похожая на игру «Операция», которой мы увлекались в детстве: там нужно было осторожно вытащить кость пинцетом, не коснувшись краев отверстия — иначе запищит зуммер.

Анестезиолог рассеянно поглаживает мои виски руками в латексных перчатках. То же самое делала мама, когда я сваливалась с гриппом или мучительной головной болью — из тех, от которых мечтаешь вскрыть вену на виске, чтобы только ослабить давление.

Диск Вагнера проиграл уже два раза. Врачи решили, что пришло время нового жанра; побеждает джаз. Люди всегда думают: раз я люблю классическую музыку, то и джаз мне нравится, — но это не так. А вот папа его обожает, особенно безумного позднего Колтрейна, и говорит, что джаз — это такой стариковский панк. Полагаю, в том-то все и дело, ведь панк я тоже не люблю.

Операция тянется и тянется. Я уже совершенно измотана. Не знаю, откуда у врачей берутся силы продолжать. Они стоят на своих местах, но, похоже, это потруднее, чем бежать марафон.

Я начинаю отключаться. Потом задумываюсь о своем нынешнем состоянии. Если я не мертва — а раз кардиомонитор усердно попискивает, то, видимо, нет, — но нахожусь не в своем теле, могу ли я отправиться, куда мне угодно? Может, я призрак? А смогу ли я перенестись на гавайский пляж или в нью-йоркский Карнеги-холл? Смогу ли пойти к Тедди?

Исключительно ради эксперимента я шевелю носом, как Саманта в сериале «Моя жена меня приворожила». Ничего не происходит. Щелкаю пальцами, щелкаю каблуками — я все еще здесь.

Я решаю попробовать трюк попроще: подхожу к стене, воображая, как проплываю сквозь нее и выхожу с другой стороны. Но получается у меня только уткнуться в стену.

Торопливо входит медсестра с пакетом крови, и, прежде чем дверь захлопывается за ней, я проскальзываю в щель. Теперь я в больничном коридоре. Тут снует множество врачей и медсестер в зеленом и голубом. Женщина на каталке — волосы убраны под синюю сетчатую купальную

шапочку, в руке торчит капельница — зовет: «Уильям, Уильям». Я прохожу немного дальше. Здесь чередой операционных, во всех спящие люди. Если пациенты в этих палатах в таком же состоянии, что и я, то почему мне не видно их разгуливающих по коридорам двойников? Кто-нибудь ведь должен слоняться здесь, как и я? Хотелось бы мне встретить хоть одного такого же. У меня накопились вопросы: например, что это за состояние и как мне из него выбраться? Как мне снова попасть в свое тело? Нужно ли ждать, пока меня разбудят врачи? Но вокруг нет никого похожего. Возможно, остальные придумали, как добраться до Гавайев.

Я прохожу следом за медсестрой в автоматические двойные двери и оказываюсь в небольшой комнате ожидания. Здесь мои бабушка и дедушка.

Бабушка что-то говорит дедушке — или, может быть, просто в пространство. Такой у нее способ не поддаваться чувствам. Я уже видела эту ее манеру, когда у дедушки случился сердечный приступ. На бабушке высокие резиновые сапоги и садовый комбинезон, заляпанный грязью. Наверное, она работала у себя в оранжерее, когда услышала новости о нас. Волосы у бабушки короткие, кудрявые и седые; папа говорит, она делает такой перманент с семидесятых годов. «Просто и удобно, — объясняет бабушка, — ни забот, ни хлопот». Это очень характерно для нее: никаких глупостей, все по-деловому. Она кажется прямо-таки квинтэссенцией практичности, и большинство людей ни за что бы не подумали, что она слегка помешана на ангелах. У нее целая коллекция самых разнообразных ангелов: нитяных кукол, фарфоровых, стеклянных — да каких угодно, в специальном китайском буфете в ее швейной комнате. И бабушка не просто собирает ангелов — она верит в них, считает, что они повсюду. Однажды в лесном пруду за их с дедушкой домом поселилась пара гагар. Бабушка твердо уверовала, что это ее давно почившие родители прилетели присматривать за ней.

В другой раз мы сидели на веранде, и я заметила красную птичку.

— Это клест? — спросила я бабушку.

Она покачала головой.

— Клест — это моя сестра Глория, — заявила бабушка, имея в виду недавно умершую двоюродную бабушку Гло, с которой сама она никогда не ладила. — Она бы не стала сюда прилетать.

Дедушка разглядывает остатки жидкости в своем пенопластовом стакане, отколупывая кусочки от края; маленькие белые шарики скатываются ему на колени. Судя по виду, это отвратительное пойло, оно выглядит так, будто было сварено десять лет назад и с тех пор стояло на огне. И все же я не отказалась бы выпить чашечку.

Сразу видно, что дедушка, папа и Тедди одной породы, хотя дедушкины волнистые, некогда светлые волосы уже поседели, и он плотнее тощего, как палка, Тедди и папы, жилистого и мускулистого от дневных занятий в тренажерном зале «Христианской ассоциации молодых людей». [13] Но у всех у них одинаковые водянистые серо-голубые глаза — цвета океана в пасмурный день.

Может быть, поэтому сейчас мне трудно смотреть на дедушку.

* * *

Джувьярд был бабушкиной идеей. Сама она из Массачусетса, но переехала в Орегон в пятьдесят пятом году, одна. Теперь в этом нет ничего особенного, но, думаю, пятьдесят два года назад такой поступок считался довольно скандальным для двадцатидвухлетней незамужней женщины. Бабушка заявила, что ее манят дикие просторы, и бесконечные леса и скалистые побережья Орегона ее вполне устроили. Она нанялась секретаршей в Службу охраны лесов. Дедушка работал там же биологом.

Иногда летом мы ездим в Массачусетс, в коттедж в западной части штата, который на неделю оккупирует разросшаяся бабушкина семья. Там я вижу с троюродными сестрами и братьями, двоюродными бабушками и дедушками, которых смутно знаю по именам. В Орегоне у меня тоже большая семья, но все по дедушкиной линии.

Прошлым летом на массачусетское сборище я взяла с собой виолончель, чтобы не прерывать занятия перед концертом камерной музыки. В самолете были свободные места, так что стюардесса разрешила мне поставить виолончель на соседнее сиденье — я летела прямо как профессионал. Тедди нашел это крайне забавным и все время пытался накормить виолончель крендельками.

В коттедже я однажды вечером дала концерт, в самой большой комнате, перед родственниками и развешанными по стенам головами диких зверей. После этого кто-то упомянул Джувьярд, и бабушка идея захватила.

Сначала это казалось надуманным: в ближайшем к нам университете была прекрасная учебная программа по музыке. А если я метила выше, то консерватория имела в Сиэтле, всего в нескольких часах езды. Джувьярд же находился на другом конце страны и дорого стоил. Мама с папой оба заинтересовались, но мне было ясно: на самом деле никто из них не хотел отправлять меня в Нью-Йорк или залезать в долги, чтобы я стала

виолончелисткой в заштатном оркестрике какого-нибудь городишки. Они не представляли, насколько хорошо я играю, да и сама я не представляла. Профессор Кристи говорила, что я одна из самых многообещающих ее учениц, но никогда не упоминала при мне Джульярда. Джульярд считался школой музыкантов-виртуозов, и подумать, будто там пожелают хотя бы взглянуть на меня, уже казалось дерзостью.

Но после семейного сбора, когда кто-то еще, непристрастный и с Восточного побережья, назвал меня достойной Джульярда, мысль эта прочно укоренилась в голове у бабушки. Она взяла на себя разговор с профессором Кристи, и моя учительница вцепилась в идею, как терьер в кость.

Так что я заполнила форму заявления, собрала рекомендательные отзывы и отослала запись моей игры. И ни о чем не рассказала Адаму. Я убедила себя: нет смысла объявлять о моей попытке на весь свет, если так мало шансов даже на прослушивание. Но все равно я сознавала, что это самая настоящая ложь. Маленькая часть меня полагала даже подачу заявления неким предательством. Джульярд в Нью-Йорке, а Адам-то здесь.

Но уже больше не в школе. Он был на год старше меня и с осени — для меня начался последний, одиннадцатый класс — пошел в городской университет. Посещал он не все занятия, поскольку популярность «Звездопада» набирала обороты. Уже был контракт с компанией звукозаписи в Сиэтле и много гастрольных поездок. Поэтому только когда мне пришел кремовый конверт со штампом школы Джульярда и письмо, приглашающее меня на прослушивание, я рассказала Адаму о заявлении. Я объяснила, сколько людей не добираются и до этого этапа. Сначала Адам выглядел несколько ошеломленным, будто не мог поверить, потом выдал печальную улыбочку и сказал:

— Йо-Маме лучше не расслабляться.

Прослушивание проходило в Сан-Франциско. У папы на той неделе была какая-то крупная конференция в школе, и он не мог отвертеться, а мама только что вышла на новую работу в бюро путешествий, так что сопровождать меня вызвалась бабушка.

— Давай устроим по этому случаю настоящий девичник. Выпьем чаю в «Фэйрмонте», ^[14]поглазеем на витрины на Юнион-сквер, съездим на пароме до Алькатраса. В общем, побудем туристками.

Но за неделю до нашего отъезда бабушка споткнулась о корень дерева и сильно потянула щиколотку. На нее нацепили здоровенный неуклюжий ботинок и запретили ходить пешком. Поднялась небольшая паника. Я

заявила, что могу поехать и одна, на машине или поезде, и вернусь целой и невредимой.

Но дедушка настоял, что отвезет меня, и мы поехали вместе на его пикапе. Мы не особенно много разговаривали, я этому была только рада, потому что страшно нервничала. И все время вертела в руках палочку от мороженого — талисман на удачу, который Тедди вручил мне перед отъездом.

«Ни струн и ни смычка», — пожелал он.

Мы с дедушкой слушали по радио классическую музыку и «Вестник фермера», когда удавалось поймать волну. В остальное время ехали в тишине. Но это была умиротворяющая тишина, лучше самого задушевного разговора: она помогала мне расслабиться и почувствовать себя ближе к бабушке.

Бабушка заказала нам поистине роскошную гостиницу, и было забавно видеть дедушку в рабочих ботинках и клетчатой рубашке посреди кружевных салфеток и вазочек с цветочными лепестками. Но он все принял как должное и перенес стоически.

Прослушивание вытянуло из меня все силы. Я должна была сыграть пять произведений: концерт Шостаковича, две сюиты Баха, все «Пеццо каприччиозо» Чайковского (почти невозможный подвиг) и тему из «Миссии» Эннио Морриконе — интересный, но рискованный выбор, потому что его переигрывал Йо-Йо Ма и все стали бы сравнивать. Я вышла из аудитории с мокрыми от пота подмышками и дрожащими ногами. Там на меня нахлынула волна эндорфинов вкупе с огромным чувством облегчения, и перед глазами все закружилось.

— Ну что, поедem посмотрим город? — спросил дедушка, улыбаясь чуть трясущимися губами.

— Конечно!

Мы проделали все, что мне наобещала бабушка. Дедушка свозил меня выпить чаю и побродить по магазинам, вот только ужин, который бабушка нам заказала в каком-то модном дорогом месте в районе Рыбачьей пристани, [\[15\]](#)мы пропустили и вместо этого забрели в Чайнатаун, нашли ресторан с самой длинной очередью снаружи и поели там.

Когда мы вернулись домой, дедушка вышел вместе со мной из машины и обнял меня. Обычно он только руку пожимал, в особых случаях разве что по спине похлопывал. Его объятие было крепким и сильным, и я понимала: таким образом он сообщает, что замечательно провел время.

— Я тоже, дедуль, — шепнула я.

15:47

Меня только что перевели из послеоперационной палаты в отделение реанимации и интенсивной терапии, или ОРИТ. Это комната подковообразной формы, в ней около дюжины кроватей; вокруг них постоянно снуют несколько медсестер, пробегая глазами компьютерные распечатки с записями наших физиологических показателей, выползающие в изножье кроватей. В центре палаты стоят другие компьютеры и большой стол, за которым сидит еще одна медсестра.

За мной следят медсестра и медбрат, а также все время сменяющие друг друга врачи. Медбрат — молчаливый, нездорового вида мужчина со светлыми волосами и усами; он мне не особенно нравится. А у медсестры кожа настолько черная, что отликает синевой, и говорит она с мелодичным акцентом. Она зовет меня «солнышком» и все время разглаживает на мне одеяло, хотя не похоже, чтобы я его скидывала.

Ко мне подсоединено столько трубочек, что я их и сосчитать не могу: одна в горле, дышит за меня; одна в носу, отсасывает жидкость из желудка; одна в вене, восполняет теряемую воду; одна в мочевом пузыре, мочится за меня; несколько в груди, фиксируют сокращения сердца; еще одна на пальце, записывает пульс. Аппарат искусственной вентиляции легких, помогающий мне дышать, задает мягкий приятный ритм, похожий на метроном: вдох, выдох, вдох, выдох.

Никто, кроме врачей, медсестер и социальной работницы, не заходил меня проведать. Именно соцработница беседует с бабушкой и дедушкой негромким сочувственным голосом. Она говорит, что я в тяжелом состоянии. Я не очень понимаю, что это значит — тяжелое. У телевизионных пациентов состояние всегда либо критическое, либо стабильное. «Тяжелое» звучит угрожающе. Когда человеку слишком тяжело, у него все перестает работать — а так и до могилы недалеко.

— Если бы мы могли хоть что-нибудь сделать, — говорит бабушка. — Я чувствую себя такой бесполезной, просто сидя здесь.

— Я узнаю, можно ли будет провести вас к ней через некоторое время, — говорит соцработница. У нее седые курчавые волосы, пятно от кофе на блузке и доброе лицо. — Девочка еще не отошла от операции и подключена к респиратору: он помогает ей дышать, пока тело приходит в себя после шока. Но даже пациентам в коматозном состоянии бывает полезно услышать голоса любимых и родных.

Дедушка кряхтит в ответ.

— У вас есть кто-нибудь, кому можно позвонить? — спрашивает соцработница, — родственники, которые могут захотеть побыть здесь с вами. Я понимаю, что для вас это тяжелое испытание, но чем сильнее будете вы, тем больше это поможет Мие.

Я вздрагиваю, услышав свое имя от соцработницы, — неприятное напоминание, что они говорят обо мне. Бабушка перечисляет работнице нескольких человек, которые уже едут сюда. Но я не слышу никакого упоминания об Адаме.

Адам — единственный, кого я по-настоящему хочу видеть. Вот бы выяснить, где он, и попробовать туда добраться. Я не представляю, как он узнает обо мне. У бабушки и дедушки нет его телефона, а у них нет сотовых, так что он не сможет им позвонить. Ну а люди, которые в обычной ситуации сообщили бы, что со мной что-то случилось, наверняка этого не сделают.

Я стою над попискивающей, утыканной трубочками неподвижной фигурой — самой собой. Моя кожа посерела. Глаза закрыты и заклеены. Мне хочется, чтобы кто-нибудь снял пластырь, один его вид вызывает зуд. Надо мной хлопочет симпатичная медсестра. К ее униформе прилипли леденцы, хотя здесь не педиатрическое отделение.

— Ну, как у тебя дела, солнышко? — спрашивает она, будто мы только что столкнулись в магазине.

* * *

Вначале у нас с Адамом все шло не слишком гладко. Кажется, я придерживалась мнения, что любовь побеждает все. И к тому моменту, как Адам привез меня домой после концерта Йо-Йо Ма, думаю, мы оба поняли, что влюбляемся. Я-то полагала, что это самый трудный этап. В книгах и фильмах истории всегда заканчиваются, когда двое наконец-то сливаются в романтическом поцелуе. «Жили они долго и счастливо» просто подразумевается, оставаясь за кадром.

Но у нас получилось не совсем так. Оказалось, пребывание в столь далеких друг от друга уголках социальной вселенной имеет свои недостатки. Мы продолжали видеться в музыкальном крыле, но эти отношения оставались платоническими, как будто мы оба не хотели омрачать их, смешивая одно с другим. Но когда мы встречались в других

местах школы — сидели вместе в столовой или занимались бок о бок во двореке в солнечный денек, — что-то исчезало. Нам становилось неловко. Разговор не клеился, выходил неестественным: мы то начинали говорить одновременно, то не могли придумать, что сказать.

— Ты молодчина, — выдавливала я.

— Нет, это ты молодчина, — отвечал Адам.

Вежливость тяготила. Я хотела пробиться сквозь нее, чтобы вернуть мягкий свет и теплоту того концертного вечера, но не очень понимала, как это сделать.

Адам приглашал меня посмотреть и послушать, как играет его группа. На концертах было даже хуже, чем в школе. Если в своей семье я ощущала себя словно рыба, вытщенная из воды, то в кругу Адама казалась себе рыбой, брошенной на Марс. Рядом с ним всегда были остроумные, жизнерадостные люди, классные девчонки с крашеными волосами и пирсингом, самые замкнутые парни тут же веселили, когда он заговаривал с ними на рок-жаргоне. Я не могла вести себя как настоящая фанатка, а рок-жаргона не знала вообще. Я должна была бы понимать этот язык, будучи музыкантшей и дочерью своего отца, но не понимала. Так говорящие на мандаринском китайском могут частично понимать кантонцев, но не до конца; хотя иностранцы считают, будто все китайцы могут общаться между собой, на самом деле мандаринский и кантонский диалекты сильно различаются.

Ходить на концерты с Адамом было сущим мучением. Не то чтобы я ревновала, завидовала или мне не нравилась его музыка. Я любила смотреть, как он играет. Когда он стоял на сцене, гитара казалась еще одной его конечностью, естественным продолжением тела. А когда Адам сходил со сцены после концерта, он был весь в поту, но таком чистом и свежем поту, что мне даже хотелось облизать его щеку, словно леденец. Конечно, я этого не делала.

Как только вокруг него собирались поклонники, я ускользала в темный зал. Адам пытался меня вернуть, обнять за талию, но я выворачивалась и возвращалась в тень.

— Я тебе больше не нравлюсь? — с укором спросил меня Адам после одного из концертов. Он шутил, но за небрежным тоном слышалась досада.

— Сомневаюсь, что мне стоит продолжать ходить на ваши концерты, — сказала я.

— Почему? — спросил он, на этот раз даже не пытаясь скрыть обиду.

— Я чувствую, что мешаю тебе полностью в это погрузиться. Не хочу, чтобы тебе приходилось волноваться за меня.

Адам ответил, что и не думал этого делать, но я знала, что в глубине души он все-таки волновался.

Возможно, мы прекратили бы отношения в те первые недели, если бы не мой дом. Там, с моей семьей, мы обрели взаимопонимание. После того как мы пробыли вместе около месяца, я привела Адама на его первый семейный ужин с нами. Они с папой сидели на кухне и беседовали о роке. Я наблюдала за ними, по-прежнему не понимая и половины, но не чувствовала себя исключенной из разговора, как на концертах.

— А ты играешь в баскетбол? — спросил папа. В плане зрелищ он был фанатом бейсбола, но сам любил побросать мяч в кольцо.

— Конечно, — ответил Адам, — ну, то есть не особенно хорошо.

— Хорошо не обязательно, главное — увлеченно. Хочешь сыграть побыстрому? Ты уже в баскетбольной обуви. — Папа указал на Адамовы кеды, потом повернулся ко мне: — Ты не против?

— Вовсе нет, — улыбнулась я. — Пока вы играете, я могу позаниматься.

Они ушли на площадку за соседней начальной школой и вернулись минут через сорок пять. Адам, весь блестящий от пота, казался слегка ошеломленным.

— Что случилось? — спросила я. — Старик тебя сделал?

Адам одновременно покачал головой и кивнул.

— Ну да. Но не только. Когда мы играли, меня укусила пчела, в ладонь. А твой отец схватил меня за руку и высосал яд.

Я кивнула. Этому фокусу он выучился у бабушки, и при пчелиных укусах, в отличие от укусов гремучих змей, высасывание действительно помогает. Жало и яд выходят, так что остается только легкий зуд.

Адам расплылся в смущенной улыбке, потом наклонился и прошептал мне на ухо:

— Кажется, я немного обалдел оттого, что стал ближе с твоим папой, чем с тобой.

Я прыснула. Однако в некотором смысле это было правдой. В те несколько недель, что мы встречались, дело не заходило дальше поцелуев. Не то чтобы мне мешала скромность — я еще была девственницей, но совершенно не собиралась таковой оставаться. А Адам уж точно девственником не был. Скорее наши поцелуи страдали от той же вымученной вежливости, что и разговоры.

— Наверное, пора это исправить, — шепнула я.

Адам поднял брови, будто уточняя, верно ли расслышал. Я в ответ

залилась краской. Весь ужин мы ухмылялись друг другу, слушая Тедди, болтавшего о костях динозавров, которые он сегодня днем откопал в саду за домом. Папа приготовил свой знаменитый ростбиф в соляной корке, мое любимое блюдо, но у меня не было аппетита. Я возила еду по тарелке, надеясь, что никто не обратит внимания. Тем временем во мне нарастала некая вибрация. Это напомнило мне камертон-вилку, с помощью которого я настраивала виолончель. Если ударить им по чему-нибудь, возникают звуковые колебания на частоте ноты ля — и вибрация продолжает усиливаться, пока гармонические обертоны не заполнят все пространство. То же самое делала со мной улыбка Адама за ужином.

После еды Адам наскоро осмотрел ископаемые находки Тедди, а потом мы поднялись ко мне в комнату и закрыли дверь. Ким не разрешают оставаться дома наедине с мальчиками — впрочем, и возможности такой пока не представлялось. Мои родители никогда не оглашали никаких правил на эту тему, однако меня не оставляло ощущение, будто они понимают, что происходит со мной и Адамом; и пусть даже папе нравилось играть в свое «папе видней», в реальности они с мамой питали изрядную слабость ко всему, что касалось любви.

Адам лег на мою кровать и закинул руки за голову. Все его лицо сияло улыбкой: и глаза, и нос, и рот...

— Сыграй на мне, — сказал он.

— Что?

— Я хочу, чтобы ты поиграла на мне, как на виолончели.

Я начала было говорить, что это бредовая идея, но вдруг поняла: идея-то прекрасная. Я достала из шкафа один из запасных смычков.

— Сними рубашку, — попросила я дрогнувшим голосом.

Адам снял. При всей своей худобе он был на удивление хорошо сложен. Я бы могла минут двадцать разглядывать рельефные выпуклости и впадины его груди. Но он хотел большей близости. Я хотела большей близости.

Я села рядом с ним на кровать, так чтобы его длинное тело лежало передо мной. Смычок завибрировал, когда я положила его на постель.левой рукой я огладила голову Адама, словно головку своей виолончели. Он снова заулыбался и закрыл глаза. Я немного расслабилась. Поиграла с его ушами, как с колками, и шутливо пощекотала, когда он тихонько засмеялся. Потом провела двумя пальцами по его кадыку и, поглубже вдохнув для храбрости, опустила руки ему на грудь. Пробежала пальцами вверх и вниз по торсу, особенное внимание уделяя сухожилиям мышц, и

мысленно назначила их струнами: ля, соль, до, ре. ^[16]Кончиками пальцев я по одному проследила их сверху вниз. Тогда Адам затих, словно концентрировался на чем-то.

Я взяла смычок и опустила поперек его тела, чуть выше бедер, где, по моим расчетам, должна была находиться подставка виолончели. Сначала я водила смычком легко, а потом все плотнее и быстрее, поскольку музыка в моей голове набирала темп и громкость. Адам лежал совершенно неподвижно, с его губ срывались легкие стоны. Я взглянула на смычок, на свои руки, на лицо Адама, и на меня накатила волна любви, желания и незнакомое прежде ощущение власти. Мне и в голову не приходило, что я могу вызвать у кого-то такие переживания.

Когда я закончила, Адам встал и поцеловал меня, крепко и долго.

— Теперь я, — сказал он, поднимая меня на ноги.

Для начала он стянул с меня свитер и приспустил мои джинсы. Потом сел на кровать, а меня положил к себе на колени, но некоторое время не делал ничего. Я закрыла глаза и попыталась ощутить его взгляд на своем теле — сейчас он видел меня так, как никто до него.

И тут Адам начал играть.

Он переставлял аккорды на верхней части моей груди, получалось щекотно и смешно. Затем нежно и осторожно он передвинул руки ниже; я перестала хихикать. Камертон зазвучал громче и отчетливее — вибрация усиливалась каждый раз, как Адам касался меня в новом месте.

Через некоторое время он переключился на испанский стиль, быстрое арпеджио. С верхней частью моего тела он обращался как с грифом, глядя волосы, лицо, шею. Он пощипывал и постукивал по груди и животу, а я ощущала его руки даже там, где он вовсе меня не касался. Адам играл и играл, энергия нарастала: камертон обезумел, разливая вибрации повсюду кругом — пока все мое тело не затрепетало и у меня не перехватило дыхание. И когда я почувствовала, что больше ни секунды этого не вынесу, вихрь ощущений достиг головокружительного крещендо, пронзив каждое нервное окончание в моем теле.

Я открыла глаза, наслаждаясь затопляющим меня теплым покоем, и начала смеяться. Адам тоже. Мы поцеловались еще, пока ему не пришло время идти домой.

Провожая Адама к машине, я вдруг захотела сказать, что люблю его. Но это показалось мне уж слишком банальным после того, чем мы сейчас занимались. Я сдержалась тогда и сказала на следующий день.

— Какое облегчение. А я-то думал, ты просто используешь меня для секса, — поддразнил меня Адам, ухмыляясь во весь рот.

После этого проблемы у нас еще возникали, но чрезмерная вежливость друг с другом в их число не входила.

16:39

Теперь у меня целая толпа гостей. Бабушка с дедушкой, дядя Грег, тетя Диана, тетя Кейт, кузены Джон и Дэвид и кузина Хедер. Папа — один из пяти детей, так что намного больше родственников не приехали. Никто не говорит о Тедди, и я делаю вывод, что он не здесь. Возможно, он все еще в другой больнице и о нем заботится Уиллоу.

Родственники собираются в комнате ожидания. Не в маленькой, на хирургическом отделении, где бабушка с дедушкой сидели во время моей операции, а в большой, на первом этаже. Она красиво оформлена в лиловых тонах, повсюду расставлены удобные кресла и диванчики, лежат почти свежие журналы. Все по-прежнему разговаривают тихо, как будто из уважения к другим ожидающим, хотя, кроме моих родных, здесь никого нет. Все так серьезно, так зловеще. Я возвращаюсь в коридор, чтобы вздохнуть посвободнее.

Приезжает Ким, и я счастлива; так приятно снова видеть ее длинную черную косу. Она носит косу всегда, и всякий раз к обеду непокорным мелким завиткам ее пышной гривы удастся высвободиться. Но она не собирается потворствовать своим волосам, и каждое утро они снова уходят в косу.

С Ким приехала мать. Она не позволяет Ким далеко ездить на машине, и сегодня уж точно не сделала бы исключения — после такого-то происшествия. У миссис Шейн красное лицо, все в пятнах, как будто она только что плакала или вот-вот заплачет. Я уже знаю это: я много раз видела ее в слезах. Она очень эмоциональна. Ким называет ее «примадонна-истеричка» и утверждает, будто так действует ген еврейской мамы и бедная женщина ничего не может с этим поделать.

«Наверное, и я когда-нибудь стану такой», — неохотно допускает моя подруга.

На этот образ Ким совершенно не похожа, в ней уйма сдержанного веселья и тонкого остроумия — ей частенько приходится говорить «это была шутка» людям, не понимающим ее саркастического юмора, — и я не могу представить, что она когда-нибудь станет такой же, как мать. Но с другой стороны, у меня маловато данных для сравнения. В нашем городке не так уж много еврейских матерей, а в нашей школе — еврейских детей. Причем большинство из них евреи лишь наполовину, так что проявляется это только в семисвечнике, водружаемом рядом с елкой.

Но Ким чистокровная еврейка. Иногда по пятницам я ужинаю с ее семьей; они зажигают свечи, едят хлеб-плетенку и пьют вино (пожалуй, единственная ситуация, когда неврастеничная миссис Шейн может позволить Ким выпить). Предполагается, что Ким должна встречаться только с еврейскими мальчиками, и в результате она не встречается ни с кем. Она шутит, что для этого-то ее семья сюда и переехала, хотя на самом деле ее отца наняли управлять местным заводом компьютерных микросхем. Когда Ким исполнилось тринадцать, она прошла батмицву в портлендской синагоге, и во время церемонии со свечами мне позволили зажечь одну. Каждое лето Ким уезжает в лагерь в Нью-Джерси. Он называется «Лагерь Тора хабоним», но Ким зовет его «С Торой поблудим», поскольку единственное, чем заняты там дети все лето, — это флирт и интриги.

— Прямо как в музыкальном лагере, — шутит она, хотя моя летняя консерваторская школа совсем не такая, как в «Американском пироге». [\[17\]](#)

Сейчас Ким явно раздражена. Она быстро идет по коридорам, опережая мать на добрых три метра. Внезапно ее плечи взлетают вверх, как у кошки, заметившей собаку. Она резко поворачивается к матери и требует:

— Прекрати! Я же не реву, так какого хрена ты сопли распускаешь?

Я в шоке: Ким никогда не ругается.

— Но, — слабо возражает миссис Шейн, — как ты можешь быть такой... — всхлип, — спокойной, когда...

— Уймись! — обрывает ее Ким. — Мия все еще здесь. Так что я не собираюсь тут истерики устраивать. А раз я не психую, то и ты не будешь!

Ким уносится вперед, мать вяло плетется за ней. Когда они добираются до комнаты ожидания и видят мою собравшуюся семью, миссис Шейн начинает хлюпать носом.

На этот раз Ким не ругается, но уши ее розовеют — верный признак того, что она по-прежнему в ярости.

— Мама. Оставляю тебя здесь. Я пройду. Скоро вернусь, — чеканит она и вылетает прочь.

Я выхожу в коридор следом за ней. Ким бредет по центральному вестибюлю, обходит вокруг магазинчика с подарками, заглядывает в кафе. Она смотрит на больничный указатель, и я понимаю, куда она направится, даже раньше ее самой.

В подвале прячется маленькая часовня. Там тихо — библиотечная такая тишина, — стоят плюшевые кресла, как в кинотеатрах, и приглушенно мурлыкает какая-то нью-эйджевая музычка.

Ким плюхается в кресло и скидывает пальто — то самое черное, бархатное, которому я завидовала с тех пор, как она его купила в каком-то

молле, в Нью-Джерси, куда ездила к бабушке с дедушкой.

— Обожаю Орегон, — сообщает она с икающим смешком. По язвительному тону я понимаю, что разговаривает подруга со мной, а не с Богом. — Вот тебе больничное воплощение идеи объединения всех религий. — Она обводит рукой часовню. На стене висит распятие, позади кафедры — несколько изображений Мадонны с Младенцем, а саму кафедру покрывает флаг с крестом. — А вот звезда Давида, — Ким указывает на шестиконечную звезду на стене. — Но как насчет мусульман? Ни молитвенных ковриков, ни указателя направления на Мекку. И буддисты? Они что, не могли на гонг раскошелиться? Ведь наверняка буддистов в Портленде побольше, чем евреев.

Я сажусь в кресло рядом с ней. То, что Ким разговаривает со мной как обычно, кажется таким естественным. Кроме врача «скорой помощи», велевшей мне держаться, и медсестры, спрашивавшей, как у меня дела, никто не говорил со мной с самой аварии. Говорят только про меня.

По правде говоря, я никогда не видела, как Ким молится. То есть она молилась на своей батмицве и произносит молитву за ужином в Шаббат, но только потому, что ей приходится это делать. Однако после недолгого разговора со мной она закрывает глаза, шевелит губами и шепчет что-то на языке, которого я не понимаю.

Закончив, Ким открывает глаза и вытирает одну руку о другую, будто говоря: «Ну и хватит». Но потом передумывает и добавляет последнюю просьбу:

— Пожалуйста, не умирай. Я понимаю, почему ты можешь этого хотеть, но подумай вот о чем: если ты умрешь, в школе из твоего шкафчика устроят идиотский мемориал принцессы Дианы, туда все будут класть цветы, ставить свечки и пихать записки. — Она утирает предательскую слезу тыльной стороной ладони. — Я же знаю, тебе бы от такого тошно стало.

* * *

Возможно, так вышло потому, что мы были слишком похожи. Как только Ким появилась на горизонте, все решили, что мы станем лучшими подругами, только потому, что обе мы темноволосые, тихие, старательные и серьезные — по крайней мере, внешне. Однако же ни одна из нас не была отличницей (твердые четверки по всем предметам) или, если уж на то

пошло, особенно серьезной. Мы серьезно относились к некоторым вещам — я к музыке, она к живописи и фотографии; а в упрощенном мире средней школы этого было достаточно, чтобы счесть нас кем-то вроде разлученных и встретившихся близнецов.

Нас немедленно принялись ставить в пару. На третий день пребывания Ким в школе она единственная вызвалась на физкультуре в капитаны футбольной команды, что, по моему мнению, было с ее стороны запредельным подхалимством. Пока она надевала красную футболку, учитель оглядывал класс, чтобы выбрать капитана второй команды, и его глаза остановились на мне, хотя я была одной из наименее спортивных девочек. Я поплелась в раздевалку надевать футболку и, проходя мимо Ким, буркнула: «Ну, спасибочки».

На следующей неделе учительница английского посадила нас вместе во время общего обсуждения «Убить пересмешника». Минут десять мы пялились друг на друга в каменном молчании. Наконец я выдавила:

— Полагаю, нужно говорить о расизме на старом Юге и всем таком.

Ким едва заметно закатила глаза, отчего мне захотелось швырнуть в нее словарь. Меня поразило, как сильно я уже ненавидела ее.

— Я читала эту книгу в моей прошлой школе, — сообщила она. — С расизмом там все как будто ясно. Я думаю, важнее человеческие качества. Надо понять, хороши ли люди от природы и просто испорчены расизмом, или они изначально плохи и им надо здорово потрудиться, чтобы стать хорошими?

— Неважно, — сказала я, — все равно дурацкая книжка.

Я не знала, зачем говорю такое, ведь на самом деле книга мне очень понравилась, и мы ее обсуждали с папой: ему она попалась на педпрактике. И я возненавидела Ким еще больше за то, что та вынудила меня предать любимую книгу.

— Ладно, давай тогда займемся твоей идеей, — сказала Ким, и когда мы получили по четверке с минусом, она как будто обрадовалась нашим посредственным оценкам.

После этого мы просто не разговаривали, что не мешало учителям сажать нас вместе на уроках, а всем в школе считать нас подругами. Чем чаще это случалось, тем больше мы негодовали — на всех и друг на друга. Чем больше мир сталкивал нас, тем сильнее мы отталкивались — и ополчались друг на друга. Каждая старалась делать вид, что другой не существует, хотя наличие заклятого врага не давало о себе забыть ни на минуту.

Мне казалось необходимым объяснить себе, почему я ненавижу Ким:

она лицемерная подлиза. Она назойлива. Она все время выпендривается. Впоследствии я выяснила, что она точно так же придумывала мне пороки, только ее особенно бесила моя стервозность. И однажды она мне это даже написала. На уроке английского кто-то кинул квадратик, сложенный из тетрадного листа, на пол рядом с моей правой ногой. Я подобрала его и открыла. Там было написано: «Стерва!»

Никто меня так раньше не называл, и хотя я, само собой, разозлилась, но в глубине души также была польщена: очевидно, я задела автора записки за живое, раз удостоилась этого слова. Люди нередко так называли мою маму — возможно, потому, что ей было трудно смолчать и она могла высказываться чрезвычайно резко, если не соглашалась с собеседником. Она взрывалась и бушевала, словно гроза, но потом опять становилась вежливой и любезной. И ей было совершенно безразлично, что ее называют стервой. «Это просто другой вариант слова «феминистка», — с гордостью заявляла она мне. Даже папа иногда ее так называл, но всегда в шутку, одобрительно — и никогда во время ссоры. Ему-то было видней.

Я подняла глаза от учебника. Только один человек мог послать мне такую записку, но мне все еще в это не верилось. Я украдкой оглядела класс: все уткнулись в книги. Кроме Ким. Ее уши были настолько красными, что мелкие завитки темных волос рядом с ними тоже казались розовыми. Она злобно смотрела прямо на меня. Хотя мне было всего одиннадцать и я не слишком хорошо ориентировалась в социальных тонкостях, но брошенную перчатку вызова распознала с первого взгляда, и мне не оставалось ничего другого, кроме как поднять ее.

Став постарше, мы с удовольствием шутили на тему «Как здорово, что мы тогда подрались». Тот эпизод не только скрепил нашу дружбу, но также оказался для нас первой и, похоже, единственной возможностью хорошенько кого-нибудь отмутузить. Когда еще две девчонки вроде нас могут дойти до мордобоя? Конечно, я боролась с Тедди, иногда щипала его — но бить кулаками такого малыша? Даже будь Тедди постарше, он все равно представлялся мне наполовину братом, а наполовину собственным ребенком. Я нянчилась с ним, еще когда ему было несколько недель. Я ни за что бы не смогла так его ударить. А у Ким, единственного ребенка в семье, не было братьев и сестер, с которыми можно было бы подраться. Возможно, в лагере она и участвовала бы в потасовках, но последствия бывали ужасны: драчунов ожидали многочасовые семинары по улаживанию конфликтов, в присутствии воспитателей и раввина. «Мой народ прекрасно умеет сражаться с самыми сильными противниками, но только словами, тьмой тьмущей слов», — как-то раз сказала мне подруга.

Но в тот осенний день мы дрались кулаками. Прозвенел последний звонок, и мы, не говоря ни слова, вышли на спортивную площадку и бросили рюкзаки на землю, мокрую от зарядившей с утра мороси. Ким бросилась на меня, словно бык, и врезала под дых. Я ударила ее в скулу — сжатым кулаком, по-мужски. Вокруг собралась толпа, поглазеть на представление. Драки были не самым обычным делом в нашей школе; девчачья драка — и вовсе из ряда вон выходящим событием. А уж драка тихих приличных девочек — тройное удовольствие.

К тому времени, как нас разняли учителя, вокруг стояла половина шестого класса (в сущности, именно по кольцу школьников дежурные по площадке поняли, что там что-то происходит). Драка, пожалуй, окончилась ничьей. У меня была разбита губа и рассажено запястье — последнее по собственной неосторожности: мой удар в плечо Ким прошел мимо и попал ровнехонько в столб волейбольной сетки. Ким получила фингал под глаз и неприятную ссадину на бедре — споткнулась о свой рюкзак, когда хотела меня лягнуть.

Не было никакого задушевного примирения, никакого официального разрешения конфликта. Как только учителя нас разняли, мы с Ким посмотрели друг на друга и принялись хохотать. Отвертевшись от визита в кабинет директора, мы побрели домой. Ким объяснила, что вызвалась быть капитаном команды по одной простой причине: если это сделать в самом начале учебного года, учителя тебя, скорее всего, запомнят и постараются в будущем не выбирать (с тех пор я всю пользовалась этим нехитрым приемом). Я рассказала, что на самом деле была согласна с ее трактовкой «Убить пересмешника» и что это одна из моих самых любимых книг. Так все и началось. Мы подружились, как ожидали все вокруг. Больше мы никогда не поднимали друг на друга руку, и хотя много раз между нами вспыхивали словесные баталии, размолвки заканчивались тем же, чем и та драка, — смехом до упаду.

Однако после той нашей драки миссис Шейн не позволила Ким ходить ко мне домой, убежденная, что дочь вернется на костылях. Мама предложила поговорить с ней и все уладить, но думаю, мы с папой оба понимали, что при мамином темпераменте ее дипломатическая миссия может окончиться ордером на арест всей нашей семьи. В конце концов папа пригласил Шейнов на ужин, зажарил курицу, и хотя было видно, что миссис Шейн все еще немного сомневается в моей семье: «Так вы работаете в музыкальном магазине, пока учитесь на учителя? И вы готовите? Как необычно», — сказала она папе, — мистер Шейн счел моих родителей приличными людьми, а семью не склонной к насилию, и велел

жене разрешить Ким приходить к нам свободно.

Тогда, в шестом классе, мы с Ким на несколько месяцев лишились имиджа хороших девочек. Разговоры о нашей драке продолжались, подробности раздувались невероятно: сломанные ребра, вырванные ногти, следы укусов. Но когда мы вернулись в школу после зимних каникул, все это уже позабылось. Мы снова стали темноволосыми тихими паиньками-близняшками.

Мы не имели ничего против — многие годы эта репутация работала на нас. Если, к примеру, мы обе отсутствовали в какой-то день, люди автоматически считали, будто нас свалил один и тот же вирус, а не что мы прогуляли школу ради авторского кино, которое показывали на занятиях по киноискусству в университете. Когда кто-то в порядке розыгрыша выставил нашу школу на продажу, обклеив ее объявлениями и внося в список недвижимости на eBay, подозрительные взгляды обратились на Нельсона Бейкера и Дженну Маклафлин, а не на нас. Хотя нам пришлось признаться в содеянном — как мы и планировали, если у кого-нибудь будут неприятности, — нам долго пришлось всех убеждать, что это действительно наших рук дело.

Это всегда смешило Ким. «Люди верят в то, во что хотят верить», — говорила она.

16:47

Однажды мама нелегально протащила меня в казино. Мы поехали на каникулы на озеро Крейтер ^[18] и остановились пообедать близ индейской резервации, в пансионате со шведским столом. Мама решила немного сыграть, и я пошла с ней, а папа остался с Тедди, задремавшим в коляске. Мама уселась за однодолларовые столы для блэкджека. Крупье подозрительно посмотрел на меня, потом на маму, которая ответила ему взглядом столь резким, что им можно было алмазы колоть, а потом просияла ослепительной, ярче любого бриллианта, улыбкой. Крупье робко улыбнулся в ответ и не сказал ни слова. Я смотрела на мамину игру словно загипнотизированная. Казалось, мы провели там всего минут пятнадцать, но когда нас нашли папа с Тедди — оба страшно недовольные, — оказалось, что просидели мы больше часа.

В ОРИТ тоже так. Невозможно понять, какое сейчас время суток и сколько ты здесь находишься. Естественного света тут нет. И постоянный шумовой фон, только вместо электронных сигналов игровых автоматов и улаждающего слух позвякивания четвертаков здесь гудение и стрекотание медицинских машин, бесконечные вызовы по громкой связи и непрерывный говорок медсестер.

Я не очень-то представляю, сколько уже здесь нахожусь. Некоторое время назад медсестра с мелодичным акцентом, нравившаяся мне, сказала, что идет домой. «Я вернусь завтра и хочу увидеть тебя здесь, солнышко», — сказала она. Поначалу я нашла это странным: разве она не хочет, чтобы я вернулась домой или чтобы меня перевели в другое отделение больницы? Но потом я поняла, что она хочет увидеть меня в этой палате, а не мертвой.

Врачи по-прежнему периодически подходят, оттягивают мои веки и машут перед глазами фонариком. Они делают это грубовато и торопливо, как будто не считают, что веки достойны какой-либо заботы. Это заставляет задуматься, сколь редко в нашей жизни мы касаемся глаз других людей. Возможно, родители поднимали вам веко, чтобы убрать соринку, или, может быть, любимый легким касанием целовал ваши закрытые глаза, когда вы уже уплывали в сон. Но все же веки — не локти, колени или плечи: части тела, прикосновение к которым привычно.

Теперь у моей постели сидит соцработница. Она просматривает мою медкарту и разговаривает с медсестрой, обычно сидящей за большим

столом в центре палаты. Просто поразительно, как здесь за вами следят. Если перед вашими глазами не машут ручками-фонариками или не читают распечатки, выползающие из прикроватных принтеров, то смотрят ваши жизненные показатели на экране центрального компьютера. Если что-то хоть чуть-чуть неладно — какой-нибудь монитор начинает пищать; и все время где-нибудь раздается сигнал. Поначалу меня это пугало, но теперь я понимаю, что половина сигналов сообщает, что что-то не так с машинами, а не с людьми.

Соцработница выглядит зверски уставшей, словно не отказалась бы занять свободную койку. Я не единственная ее больная. Она весь день курсирует туда-сюда между пациентами и их семьями. Она — мостик между врачами и прочими людьми, и видно, какого напряжения ей стоит балансирование между двумя мирами.

Почитав мою карту и обсудив ее с медсестрами, она возвращается вниз, к моим родным, которые перестали разговаривать приглушенными голосами и теперь занялись каждый своим делом. Бабушка вяжет, дедушка притворяется дремлющим, тетя Диана решает sudoku, кузены сменяют друг друга за «Гейм-боем», играя с выключенным звуком.

Ким уехала. Вернувшись после посещения часовни в комнату ожидания, она обнаружила, что миссис Шейн совсем расклеилась. Ким очень смутилась и поскорее увела мать. Но думаю, на самом деле присутствие миссис Шейн там принесло некоторую пользу. Пока ее успокаивали, всем было чем заняться, и люди ощущали себя нужными. Теперь им снова не к чему себя приложить, опять началось бесконечное ожидание.

Когда соцработница входит в комнату, все встают, будто приветствуют члена королевской семьи. Она выдает полуулыбку, которую я сегодня уже видела у нее несколько раз. Я думаю, это такой ее сигнал, что все хорошо или как прежде, и она пришла сообщить только свежие новости, а не что-нибудь ужасное.

— Мия по-прежнему без сознания, но ее жизненные показатели улучшаются, — объявляет соцработница моим родственникам, спешно побросавшим свои занятия в креслах и собравшимся вокруг нее. — Сейчас у нее специалисты по искусственной вентиляции легких. Они проверяют, как функционируют легкие Мии, можно ли отключить ее от респиратора.

— Ведь это хорошие новости? — спрашивает тетя Диана. — Наверное, если она сможет дышать сама, то скоро очнется?

Соцработница демонстрирует отработанный сочувственный кивок.

— Очень хорошо, если она сможет дышать сама. Это покажет, что ее

легкие выправляются, а внутренние повреждения стабилизировались. Но основная сложность по-прежнему с контузиями головного мозга.

— В смысле? — вмешивается кузина Хедер.

— Мы не знаем, когда она очнется сама, и не знаем, насколько поврежден ее мозг. Эти первые двадцать четыре часа — самые критичные, и Мия получает лучшую помощь, какую только возможно.

— Можно нам ее увидеть? — спрашивает дедушка.

Соцработница кивает.

— Для этого я и здесь. Думаю, для Мии будет полезен краткий визит. Но только один или два человека.

— Мы пойдем, — выступает вперед бабушка. Дедушка встает рядом ней.

— Да, я так и подумала, — соглашается соцработница, а остальной семье говорит: — Мы ненадолго.

Все трое идут по коридору молча. В лифте соцработница пытается подготовить бабушку и дедушку к моему виду, перечисляя внешние повреждения и объясняя, что хотя они выглядят ужасно, но вполне излечимы. Внутренние повреждения — вот что вызывает опасения, говорит она.

Она разговаривает с бабушкой и дедушкой, как с детьми, но они крепче, чем кажется с виду.

Дедушка служил врачом в Корее. А бабушка — она всегда спасала всяких животных: птиц со сломанными крыльями, больного бобра, оленя, сбитого машиной. Олень отправился в заповедник дикой природы — это довольно забавно, потому что обычно бабушка терпеть не может оленей: они объедают ей сад. «Гнусные крысы», — называет она их. «Вкусные крысы», — говорит дедушка, жаря на решетке оленье стейки. Но в тот единственный раз бабушка не смогла смотреть, как олень мучается, и спасла его. Я втайне подозреваю, что она решила, будто это один из ее ангелов.

И все равно, когда бабушка с дедушкой проходят через автоматические двойные двери в ОРИТ, оба останавливаются, словно наткнувшись на невидимый барьер. Бабушка сжимает дедушкину руку, и я пытаюсь припомнить, видела ли их когда-нибудь раньше держащимися за руки. Бабушка разглядывает койки в поисках меня, но только соцработница поднимает руку, чтобы указать, как дедушка находит меня и идет через палату к моей кровати.

— Привет, утенок, — говорит он.

Последний раз он меня так называл много лет назад, когда я была еще

младше Тедди. Бабушка медленно подходит туда, где я лежу, мелко сглатывая. Похоже, раненные животные оказались не такой уж хорошей подготовкой.

Соцработница придвигает два стула и ставит их в изножье моей кровати.

— Мия, здесь твои бабушка и дедушка. — Она жестом приглашает их сесть. — Я оставлю вас одних.

— Она может нас слышать? — спрашивает бабушка. — Если мы будем говорить с ней, она поймет?

— Честно говоря, не знаю, — отвечает соцработница. — Но ваше присутствие будет ей полезным, пока то, что вы говорите, не может ей повредить.

Она меряет их суровым взглядом, как будто приказывая не говорить ничего, что может меня расстроить. Я знаю, предупреждать о подобных вещах — ее работа, у нее куча дел, и она не может всегда быть безупречно чуткой, но на секунду меня охватывает сильнейшая неприязнь.

После ухода соцработницы бабушка с дедушкой минуту сидят в молчании. Затем бабушка начинает щебетать об орхидеях, растущих у нее в оранжерее. Я замечаю, что она сменила свой садовый комбинезон на чистые вельветовые штаны и свитер. Видимо, кто-то заехал к ним домой и привез ей одежду. Дедушка сидит очень тихо и неподвижно, его руки дрожат. Он не особенный любитель поболтать, так что ему сейчас, наверное, трудно выполнять указание говорить со мной.

Подходит новая медсестра. У нее темные волосы и темные глаза, подчеркнутые толстым слоем блестящих теней. На ее акриловых ногтях картинки в виде сердечек. Наверное, она тратит уйму времени и сил на уход за своими ногтями. Меня это восхищает.

Это не моя медсестра, однако она обращается к бабушке с дедушкой:

— Ни секунды не сомневайтесь, что она вас слышит. Она все понимает, что происходит. — Медсестра стоит, уперев руки в боки, для полноты образа ей не хватает только жвачки во рту. Бабушка с дедушкой уставились на нее, жадно впитывая ее слова: — Вы, может, думаете, что врачи, или медсестры, или вот это все, — она указывает на стену медицинского оборудования, — здесь заправляют? Не-а. Она здесь всем заправляет. Может, она просто нужный момент выжидает. Так что поговорите с ней: скажите, что времени у нее сколько угодно, но пусть она возвращается. Вы ее ждете.

* * *

Мама с папой никогда бы не назвали Тедди или меня ошибкой — или случайностью, или сюрпризом. Или любым другим из этих идиотских эвфемизмов. Но никто из нас не был запланированным ребенком, и родители даже не пытались скрывать это.

Мама забеременела мной, когда была совсем юной. Не подростком, но, по меркам их дружеского круга, — рано. Ей было двадцать три, и они с папой были год как женаты.

Забавно, что папа всегда был несколько старомодным — всегда чуть более консервативным, чем можно было подумать. Да, у него были синие волосы и татуировки, он носил кожаные куртки и работал в музыкальном магазине, но он захотел жениться на маме еще тогда, когда остальные их друзья только перепихивались разок по пьяни.

«Моя девушка» — звучит ужасно глупо, — заявил он. — У меня язык не поворачивается так ее называть. Выходит, нам нужно пожениться, чтобы я мог говорить ей: «жена».

Что касается мамы, у нее была не очень-то благополучная семья. При мне она не вдавалась в вопиющие подробности, но я знала, что ее отец исчез с горизонта давным-давно, и некоторое время она не общалась с матерью, но теперь мы виделись с бабушкой и папой Ричардом — так мы называли маминого отчима — пару раз в год.

Так что маму взял в оборот не только папа, но и его большая, почти полная и относительно нормальная семья. Мама согласилась выйти замуж за папу, хотя они пробыли вместе всего год. И конечно же, они всё сделали по-своему. Поженила их мировая судья-лесбиянка, а друзья сыграли на электрогитарах «Свадебный марш» в хард-роковой обработке. Невеста была в открытом белом платье с бахромой в стиле тридцатых годов и черных шипованных ботинках. Жених был весь в коже.

Я получилась из-за чужой свадьбы. Один из папиных приятелей-музыкантов, переехавший в Сиэтл, сделал своей подружке ребенка, так что они скоропалительно поженились. Мама с папой приехали на свадьбу, на вечеринке слегка набрались и у себя в отеле были не столь осторожны, как обычно. Через три месяца тест на беременность показал тонкую синюю полоску.

По их рассказам, никто из них не ощущал в себе особой готовности стать родителем. Ни один еще не чувствовал себя достаточно взрослым. Но

вопроса, стоит ли меня рожать, не возникло. Мама непреклонно стояла за право женщины на аборт. На заднем стекле ее машины красовался стикер: «Если мне нельзя доверить выбор, то разве можно доверить ребенка?» Но в ее случае выбор был сохранить меня.

Папа был не столь решителен и куда больше нервничал. До той самой минуты, когда врач вытащил меня, — тогда папа заплакал.

— Это враки, — обычно говорил он, когда мама пересказывала историю. — Ничего подобного я не делал.

— Ты не плакал тогда? — спрашивала мама с притворным удивлением.

— Я не плакал, я ревел. — Папа подмигивал мне и изображал младенческий вопль.

Будучи единственным ребенком в кругу родительских друзей, я произвела фурор. Меня воспитывала музыкальная община — множество тетюшек и дядюшек, носившихся со мной, как с собственным приемышем, даже когда я стала выказывать непостижимую любовь к классической музыке. Но и родная семья не оставляла меня без внимания. Бабушка с дедушкой жили неподалеку и с радостью забирали меня на выходные, так что мама с папой могли развлекаться сколько влезет и зависать на всю ночь на папиных концертах.

К моим четырем годам до родителей, кажется, дошло, что они и правда делают это — воспитывают ребенка, — хоть у них нет ни кучи денег, ни «настоящей» работы. Мы жили в симпатичном доме с дешевой арендой. У меня была одежда, пусть даже перешедшая по наследству от двоюродных братьев и сестер, и я росла счастливой и здоровой.

«Ты получилась чем-то вроде эксперимента, — говорил папа, — на удивление удачным. Мы опасались, что нам, наверное, случайно повезло. Нужен был еще один ребенок в качестве контрольной группы».

Они старались несколько лет. Мама беременела два раза, и оба раза случались выкидыши. Родители огорчались, но у них не было денег на всякие исследования репродуктивных функций, которые делают многие люди. К моим девяти годам они решили, что это, пожалуй, и к лучшему. Я становилась самостоятельной. Они перестали пытаться.

Как будто чтобы убедить себя, как это здорово — не быть связанными маленьким ребенком, мама с папой купили на всех троих билеты в Нью-Йорк на неделю. Предполагалось, что это будет музыкальное паломничество. Мы собирались пойти в «Си-би-джи-би» ^[19] и «Карнеги-холл». Но вдруг, к своему удивлению, мама обнаружила, что беременна, а потом, к еще большему изумлению, успешно проносила ребенка весь

первый триместр, и нам пришлось отменить поездку. Мама быстро уставала, ее тошнило, и папа мрачно шутил, что, должно быть, она боится ньюйоркцев. Кроме того, дети обходились недешево, и нужно было экономить.

Меня это ничуть не огорчило. Я была в восторге, что у нас в семье родится ребенок. И знала, что «Карнеги-холл» никуда не денется. Когда-нибудь я туда попаду.

17:40

Теперь я изрядно выбита из колеи. Бабушка с дедушкой недавно ушли, а я осталась в отделении интенсивной терапии. Я сижу на стуле, повторяя про себя их беседу со мной, которая получалась очень приятной и легкой, совсем обычной — пока они оставались здесь.

Когда они вышли из палаты — и я с ними, — дедушка повернулся к бабушке и спросил:

— Как думаешь, она сейчас решает?

— Что решает?

Дедушка смущенно переступил с ноги на ногу.

— Ну, понимаешь... Решает, — прошептал он.

— О чем ты говоришь? — Бабушкин голос звучал одновременно раздраженно и нежно.

— Да не знаю я, о чем говорю. Это же ты веришь во всяких ангелов.

— Но какое они имеют отношение к Мие?

— Если, как ты говоришь, их сейчас не видно, но они всё еще здесь, то вдруг они захотят, чтобы она ушла с ними? И вдруг она захочет к ним?

— Все совсем не так, — отрезала бабушка.

— А, — только и сказал дедушка и больше ничего не спрашивал.

После того как они ушли, я подумала, что, может быть, когда-нибудь расскажу бабушке, что никогда особенно не верила в ее теорию, будто птицы и всякие животные могут быть ангелами-хранителями людей. А теперь я и вовсе уверена: ничего такого нет.

Мои родители не здесь. Они не держат меня за руку, не ободряют и не поддерживают. Я знаю их достаточно, чтобы понимать: они бы непременно пришли, если бы могли. Пусть даже не оба — может, мама осталась бы с Тедди, а папа присматривал бы за мной. Но здесь нет никого из них.

Размышляя об этом, я вспоминаю слова медсестры: «Она здесь всем заправляет» — и внезапно понимаю, о чем на самом деле дедушка спрашивал бабушку. Он тоже слушал эту медсестру. И догадался быстрее меня.

Останусь ли я. Буду ли я жить. Все зависит от меня.

Все эти рассуждения врачей о медикаментозной коме — всего лишь разговоры. Это зависит не от врачей. И не от ангелов-прогульщиков. И даже не от Бога, который если и существует, то сейчас тоже не здесь. Это зависит от меня.

Как мне это решить? Как я могу остаться без мамы и папы? А как я могу уйти и бросить Тедди? И Адама? Это уж слишком. Я даже не понимаю, как все устроено, почему я здесь, в таком состоянии, и как из него выбраться, если я захочу. Если мне нужно сказать: «Я хочу очнуться», то очнусь ли я прямо сейчас? Я уже пыталась щелкать каблуками, чтобы найти Тедди или перенестись на Гавайи, и это не сработало. А тут, похоже, все куда сложнее.

Но я все равно верю, что это правда. Я снова слышу слова медсестры: я здесь всем заправляю. Все ждут моего решения.

Я решаю. Теперь я это знаю.

И оно пугает меня больше, чем все прочее, случившееся сегодня.

Где же, черт побери, Адам?

* * *

В мой предпоследний год в школе за неделю до Хеллоуина Адам появился у нашей двери с видом триумфатора. Он держал в руках портплед и сиял горделивой ухмылкой.

— Приготовься помучиться завистью. Я только что добыл самый лучший костюм, — сказал он и расстегнул портплед. Внутри обнаружилась белоснежная рубашка с рюшами, бриджи и длинный шерстяной сюртук с галунами.

— Ты собираешься изображать Сайнфелда ^[20] в такой вычурной рубашке? — спросила я.

— Фи, Сайнфелд! И ты еще называешь себя классическим музыкантом. Я собираюсь изображать Моцарта. погоди, ты еще туфли не видела, — он полез в сумку и вытащил громоздкие черные кожаные ботинки с металлическими полосками наверху.

— Миленько, — оценила я. — Кажется, у моей мамы есть похожие.

— Ты просто завидуешь, потому что у тебя такого классного костюма нет. И еще я надену чулки. Да, я настолько уверен в своей мужественности. А еще у меня есть парик.

— Где ты достал все это? — спросила я, щупая парик. Похоже, он был сделан из джута.

— В Интернете. Всего сотня баксов.

— Ты потратил сотню долларов на костюм для Хеллоуина?

Услышав слово «Хеллоуин», Тедди скатился по лестнице и, не

обращая внимания на меня, вцепился в цепочку Адамова бумажника.

— Подожди, я сейчас! — крикнул он и убежал наверх, а через пару секунд вернулся с сумкой. — Это хороший костюм? Или я в нем буду как маленький? — возбужденно спросил Тедди, доставая вилы, пару накладных ушей, красный хвост и длинную красную пижаму.

— Ух. — Адам отшатнулся, сделав большие глаза, — этот костюм меня до чертиков пугает, а ведь ты его даже не надел.

— Правда? Ты не думаешь, что из-за пижамы все выглядит как-то тупо? Я не хочу, чтобы надо мной смеялись. — Тедди сурово сдвинул брови.

Я с усмешкой уставилась на Адама, который пытался сдержать улыбку.

— Красная пижама, вилы да еще настоящие дьявольские уши и хвост — в таком костюме никто не осмелится бросить тебе вызов, не рискуя навлечь на себя вечное проклятие, — уверил Тедди Адам.

Лицо Тедди расплылось в широкой улыбке, открывающей дыру на месте выпавшего переднего зуба.

— Мама тоже что-то такое сказала, но я просто хотел проверить — вдруг она это говорит, только чтобы я перестал приставать к ней с костюмом. Ты же поведешь меня на «сласти или напасти»? [\[21\]](#) — Теперь он переключился на меня.

— Как и каждый год, — ответила я. — Как же мне еще раздобыть конфет?

— Ты тоже пойдешь? — спросил братишка Адама.

— Этого я ни за что не пропущу.

Тедди развернулся на пятках и унесся вверх по лестнице. Адам повернулся ко мне.

— Тедди уже определился. А ты что наденешь?

— Ой, я не очень-то костюмная барышня.

Адам закатил глаза.

— Ну так стань ею. Это же наш первый общий Хеллоуин. У «Звездопада» в этот вечер большой концерт, костюмированный, и ты обещала пойти.

Я мысленно застонала. После шести месяцев с Адамом я уже привыкла, что в школе мы — странная парочка, нас называли Балдеж и Ботаника. И я начала более уверенно вести себя с музыкантами Адама, даже выучила несколько слов из рок-жаргона. Я могла не ударить в грязь лицом, когда Адам брал меня с собой в «Дом рока» — несуразное здание около университета, где жили остальные члены группы. Я даже участвовала в панк-роковых складчинных вечеринках группы, куда каждый

приглашенный должен был принести из своего холодильника что-нибудь почти протухшее. Мы складывали все ингредиенты и творили из них нечто. Было и правда увлекательно придумывать, как превратить вегетарианский «говяжий» фарш, свеклу, сыр «фета» и абрикосы во что-то съедобное.

Но я по-прежнему ненавидела концерты — и себя, зато, что их ненавижу. В клубах вечно было накурено, от этого слезились глаза и воняла одежда. Динамики всегда настраивали так громко, что музыка орала и грохотала, отчего у меня в ушах так звенело, что тонкий пронзительный гул потом не давал заснуть. Я лежала в кровати, снова и снова проигрывая в уме неловкий и неприятный вечер, и чувствовала себя все хуже с каждым раундом.

— Только не говори мне, что ты даешь задний ход, — запротестовал Адам огорченно и раздраженно.

— А как быть с Тедди? Мы же пообещали взять его на «сласти или напасти»...

— Ну да, в пять часов. А на концерт нам нужно не раньше десяти. Я сомневаюсь, что даже Мастер Тед сможет выпрашивать сладости пять часов подряд. Так что отговорки у тебя нет. И лучше добудь себе хороший костюм, потому что я буду выглядеть обалденно — по меркам восемнадцатого века.

Адам ушел на работу, развозить пиццу, а у меня внутри все упало. Я поднялась к себе поработать над пьесой Дворжака, которую мне дала профессор Кристи, и обдумать то, что меня тревожило. Почему мне так не нравятся концерты? Потому ли, что «Звездопад» набирает популярность и я завидую? Или меня отталкивают постоянно растущие толпы девочек-фанаток? Это казалось вполне логичным объяснением, но было неверно.

После того как я поиграла минут десять, меня вдруг осенило: мое отвращение к концертам Адама никак не связано с музыкой, фанатками или завистью. Оно связано с сомнениями — с теми самыми глупыми сомнениями, что я не принадлежу к данному кругу. Я не чувствовала себя своей в семье, а теперь не чувствовала себя своей с Адамом, только в отличие от семьи, которая всегда была со мной, Адам выбрал меня сам, и этого я не понимала. Почему он влюбился в меня? Это было совершенно непостижимо. Я знала, что в первую очередь нас свела музыка: она поместила нас в одно пространство и мы смогли хоть немного узнать друг друга. И я знала, что Адаму нравится моя увлеченность музыкой. Также он оценил мое чувство юмора, «такое темное, что его почти не видно», — говорил он. Кстати о темном, я знала, что у него слабость к темноволосым девочкам, потому что все его подружки были брюнетками. И я знала, что

когда мы оставались наедине, то могли часами разговаривать или просто сидеть рядышком, читая каждый со своего айпода, и все равно чувствовать себя вместе. В голове я все это уместила, но сердцем по-прежнему не верила. Когда я была с Адамом, я чувствовала себя избранной, особенной, и это только больше заставляло меня недоумевать: «Почему я?»

И может быть, именно поэтому — пусть Адам с готовностью соглашался слушать симфонии Шуберта и ходил на все мои выступления, принося мои любимые звездчатые лилии, — я все равно лучше бы пошла к зубному, чем на его концерт. Это было ужасно неблагодарно с моей стороны. Я припомнила, как мама иногда говорила, если я чувствовала себя неуверенно: «Притворяйся, пока сама себе не поверишь». Проиграв пьесу три раза, я решила, что не только пойду на концерт, но и приложу на этот раз столько же сил, чтобы понять мир Адама, сколько приложил он для понимания моего.

— Мне нужна твоя помощь, — сказала я маме тем же вечером после ужина, когда мы стояли бок о бок, моя посуда.

— Кажется, мы уже пришли к выводу, что я не сильна в тригонометрии. Может, попробуешь он-лайн-курсы?

— Не в математике. Кое в чем другом.

— Сделаю все, что смогу. Что тебе нужно?

— Совет. Кто самая крутая, жесткая, отпадная рокерша, какую ты можешь вспомнить?

— Дебби Харри, — моментально ответила мама.

— Спа...

— Еще не все, — перебила она меня. — Я же не могу назвать только одну, это прямо «выбор Софи» какой-то. Кэтлин Ханна. Патти Смит. Джоан Джетт. Кортни Лав, в своем безумном нигилистическом стиле. Люсинда Вильямс — пусть она и кантри, но жесткая, как гвоздь. Да, еще Ким Гордон из «Соник юс» — полтинник скоро, а она все скачет по сцене. Старушка Кэт Пауэр, конечно. И Джоан Арматрейдинг. А что, это у тебя задание по обществу такое?

— Вроде того, — ответила я, обтирая щербатую тарелку. — Это для Хеллоуина.

Мама в восторге хлопнула мыльными ладонями.

— Ты хочешь сыграть одного из нас?

— Ну да. Ты мне поможешь?

Мама отпросилась с работы пораньше, чтобы мы смогли прочесать магазинчики винтажной одежды. Она решила, что надо искать стилизацию рокерского прикида, а не пытаться скопировать какую-нибудь конкретную

звезду. Мы купили облегающие штаны из «ящеричной кожи». И еще блондинистый стриженный парик с челкой до глаз, а-ля Дебби Харри начала восьмидесятых, на котором мама подкрасила ярко-розовой краской несколько прядок. Из аксессуаров мы выбрали черную кожаную ленту на одно запястье и чуть не две дюжины серебряных браслетов на другое. Мама откопала свою собственную старую футболку «Соник юс», предупредив меня не снимать ее, а то кто-нибудь стащит и продаст в Интернете за пару сотен баксов, и черные остроносые кожаные ботинки с шипами, в которых была на свадьбе.

Когда наступил Хеллоуин, мама сделала мне макияж. Широкие черные стрелки на глазах, которые мгновенно придали мне демонический вид, бледная от белой пудры кожа, кроваво-красный рот, кольцо-клипса в носу. Взглянув в зеркало, я увидела, что из него на меня уставилось мамино лицо. Возможно, все дело было в белобрысом парике, но тогда мне впервые пришлось в голову, что я и вправду похожа на кого-то из моей родной семьи.

Родители и Тедди ждали Адама внизу, а я сидела в своей комнате. Чувствовала я себя так, будто собираюсь на выпускной вечер. Папа держал наготове видеокамеру. Мама чуть не приплясывала от возбуждения. Когда Адам вошел в дверь, обсыпав Тедди разноцветными конфетами, мама с папой позвали меня.

Насколько это позволяли высоченные каблуки, я томно и плавно сошла по ступеням. Я ожидала, что Адам обалдеет, увидев волшебное преобразование своей подружки, никогда не изменявшей привычным джинсам и свитерам. Но он только приветственно улыбнулся, совсем как обычно, и тихонько хмыкнул.

— Классный костюм — вот и все, что он сказал.

— Услуга за услугу. Всё по-честному, — ответила я, указывая на его моцартовское облачение.

— По-моему, ты выглядишь жутковато, но симпатично, — высказался Тедди. — Я бы сказал «сексуально», но я твой брат, так что это будет нехорошо.

— Откуда ты вообще знаешь, что такое «сексуально»? — спросила я. — Тебе же всего шесть.

— Да все знают, что такое «сексуально», — ответил он.

Очевидно, все, кроме меня. Но в тот вечер я, кажется, прочувствовала, что это значит, на своей шкуре. Пока мы с Тедди ходили с колясками, мои собственные соседи, знакомые со мной многие годы, не узнавали меня. Парни, никогда не достаивавшие меня лишнего взгляда, теперь пялились как нанятые. И каждый раз, как это случилось, я чувствовала себя чуть

больше похожей на ту отвязную сексуальную девчонку, которую изображала. Мамин совет притворяться до тех пор, пока сам себе не поверишь, прекрасно работал.

Клуб, где выступал «Звездопад», был набит битком. Все пришли в костюмах, большинство девушек в пикантных: декольтированные французские горничные, доминатрикс, помахивающие хлыстами, распутные Дороти из «Волшебника страны Оз» с юбками, задранными до рубиново-алых подвязок, — все то, при виде чего я обычно казалась себе умственно отсталой. Но всю ту ночь я не чувствовала себя недоразвитой, хотя никто, кажется, не понял, что я в костюме.

— Надо было костюм надеть, — укорил меня парень-скелет, прежде чем предложить мне пива.

— Блин, я просто тащусь от твоих штанов, — провизжала мне в ухо какая-то флэпперша. — Ты их в Сиэтле достала?

— Ты не из «Крэк хаус квотер»? — спросил меня парень в маске Хиллари Клинтон, имея в виду группу, играющую в стиле хардкор, которую Адам любил, а я терпеть не могла.

Когда на сцену вышел «Звездопад», я не спряталась за кулисами, как обычно. Там я могла посидеть на стуле, без помех посмотреть выступление, и мне не нужно было ни с кем разговаривать. Но на этот раз я осталась у стойки бара, а потом, когда флэпперша потащила меня танцевать, пошла с ней в самую толчею.

Я никогда раньше не выходила на танцпол: мне было не слишком интересно топтаться на месте, покуда пьяные дюжие парни в коже скачут по моим ногам. Но в тот день я нырнула туда с головой. Я поняла, какво это: вливать свою энергию в толпу и впитывать ее энергию. И узнала, что на площадке перед сценой, когда все начинается, уже не столько стоишь или танцуешь, сколько втягиваешься в водоворот.

К концу выступления «Звездопада» я была такой же задыхающейся и потной, как Адам. Я не пошла за сцену, чтобы приветствовать его раньше всех. Я подождала, пока он выйдет на площадку клуба — встретиться со своей публикой, как он делал после каждого концерта. И когда он вышел, с полотенцем на плечах, попивая воду из бутылки, я бросилась ему на шею и поцеловала липкими полуоткрытыми губами прямо перед всеми. Я чувствовала, как он улыбается, целуя меня в ответ.

— Ну-ну, похоже, кого-то тут обуял дух Дебби Харри, — заметил он, оттирая помаду с подбородка.

— Пожалуй. А ты как? Чувствуешь себя Моцартом?

— Все, что я о нем знаю, я видел в том кино. Но помню, что он вроде

как был страшный бабник, так что после такого поцелуя я наверняка он. Ты готова идти? Я могу загрузить вещи, и свалим отсюда.

— Нет, давай останемся на последнюю группу.

— Правда? — спросил Адам, подняв брови от удивления.

— Ага. Я даже могу пойти с тобой на танцпол.

— Ты что, выпила? — подначил он.

— Только колу, — ответила я.

Мы танцевали, то и дело останавливаясь, чтобы пообниматься и поцеловаться, до самого закрытия клуба. По пути домой Адам, ведя машину, держал меня за руку. Он то и дело поворачивался посмотреть на меня и улыбался, качая головой.

— И как, я нравлюсь тебе такой? — спросила я.

— Хм, — ответил он.

— Это «да» или «нет»?

— Конечно же, ты мне нравишься.

— Нет, вот такой. Сегодня вечером я тебе нравилась?

Адам выпрямился.

— Мне понравилось, что ты увлеклась концертом и не рвалась слинять отсюда как можно быстрее. И было очень здорово с тобой танцевать. Еще мне понравилось, как естественно ты себя чувствовала со всем нашим сбродом.

— Но вот такой я тебе понравилась? Больше?

— Чем что? — Он выглядел искренне озадаченным.

— Чем обычно.

Я начинала раздражаться. Сегодня вечером я чувствовала себя настолько дерзкой и свободной, словно хеллоуиновский костюм наделил меня новой личностью, более достойной Адама и моей семьи. Я попыталась объяснить ему это и, к своему ужасу, обнаружила, что вот-вот разревусь.

Адам, видимо, почувствовал, что я расстроена. Он свернул на проселок, остановил машину и повернулся ко мне.

— Мия, Мия, — сказал он, глядя пряди моих волос, выбившиеся из-под парика. — Мне нравишься ты, вот такая, какая есть. Ты, конечно, сегодня одета сексуальнее и, прямо скажем, блондинка, и это необычно. Но та ты, какой ты была сегодня вечером — это та же ты, в которую я был влюблен вчера. Мне очень нравится, что ты хрупкая и жесткая, тихоня и оторва. Черт, да ты — одна из самых панковых девчонок, каких я знаю, что бы ты ни слушала и как бы ни одевалась.

Впоследствии всякий раз, когда я начинала сомневаться в чувствах

Адама, я думала о парике, пылящемся в шкафу, и это оживляло воспоминания о той ночи. И тогда неуверенность пропадала и я просто чувствовала себя счастливой.

19:13

Он здесь.

Я торчала в пустой палате в родильном отделении, желая спрятаться подальше от моих родственников и еще дальше от палаты интенсивной терапии и той медсестры — точнее, от того, что она тогда сказала, а я теперь поняла. Мне нужно было посидеть где-то, где бы люди не горевали, где бы думали о жизни, а не о смерти. Так что я пришла сюда, на территорию плачущих младенцев. На самом деле плач новорожденных умиротворяет и бодрит — ведь в них уже столько боевого задора.

Но сейчас в палате тихо; я сижу на подоконнике, глядя в окно. Вечереет. На крытую стоянку въезжает машина, и неистовый визг и скрежет вырывают меня из забытья. Я вовремя успеваю посмотреть вниз, чтобы заметить, как во тьме исчезают задние габаритные огни розовой машины. У Сары, девушки Лиз, барабанщицы «Звездопада», розовый «додж дарт». Я задерживаю дыхание, ожидая, когда из темноты туннеля появится Адам. И вот он, идет по пандусу, сжимая в руках свою кожаную куртку — защиту от холода зимнего вечера. Я вижу цепочку его бумажника, блестящую в свете фонарей. Адам останавливается и оборачивается, чтобы поговорить с кем-то позади. Из теней появляется легкая женская фигура. Сначала я думаю, что это Лиз, но потом вижу косу.

Мне ужасно хочется обнять ее. Поблагодарить за то, что она всегда на шаг раньше меня понимает, что мне нужно.

Конечно же, Ким обязательно должна была поехать к Адаму, чтобы все рассказать ему лично, а не вываливать новости по телефону, и привезти его сюда, ко мне. Именно Ким узнала, что у Адама сегодня концерт в Портленде. Она как-то умудрилась упротить мать отвезти ее в центр города. А судя по отсутствию миссис Шейн, моя подруга еще и убедила родительницу отправиться домой и позволить ей остаться со мной и Адамом. Я помню, как Ким два месяца добивалась разрешения на ту вертолетную прогулку с дядей, и искренне поражена, что ей удалось получить столько свободы за считанные часы. Именно Ким не испугалась толп суровых вышибал и хипстеров и нашла Адама. И она же осмелилась сообщить ему о случившемся.

Знаю, это звучит смешно, но я рада, что это была не я. Не думаю, что смогла бы это вынести. Все пришлось вынести Ким.

И сейчас благодаря ей он здесь.

Весь день я представляла себе приезд Адама. В моих фантазиях я бросалась ему навстречу, пусть он и не мог увидеть меня и пусть, насколько я могу судить, тут все совсем не так, как в фильме «Привидение», где можно было проходить сквозь любимых людей и они ощущали ваше присутствие.

Но теперь, когда Адам здесь, я не могу двинуться с места. Я боюсь увидеть его, взглянуть ему в лицо. Я дважды видела, как Адам плачет: первый раз, когда мы смотрели «Эту прекрасную жизнь». ^[22] А второй — на вокзале в Сиэтле, где нам попала мать, оравшая и бившая своего сына с синдромом Дауна. Адам просто затих, и только когда мы уже уходили оттуда, я заметила, что по его щекам катятся слезы. И от этого у меня чуть сердце не разорвалось. Если он будет плакать, это точно убьет меня. Можно забыть про все «мне решать» — одно это меня прикончит.

Я невозможная трусиха.

Я смотрю на часы на стене: уже больше семи. «Звездопад» не будет выступать на разогреве у «Бикини». Это скандал. Для них это был огромный прорыв. На секунду я задумываюсь, не выйдет ли остальная группа на сцену, без Адама. Однако я в этом сильно сомневаюсь. Он вовсе не главный вокалист и не лидер-гитарист — просто у группы есть свой кодекс и верность чувствам важна. Прошлым летом, когда Лиз и Сара разошлись (как оказалось, всего-то на месяц) и Лиз была слишком подавлена, чтобы играть, группа отменила тур из пяти концертов, хотя один парень, Гордон, игравший на барабанах в другой команде, предлагал подменить ее.

Я смотрю, как Адам идет к главному входу больницы. Ким едва не бежит за ним и все равно отстает. Перед тем как подойти к крыльцу и автоматическим дверям, он смотрит на небо. Адам ждет Ким, но мне нравится думать, что он ищет там меня. Его лицо, освещенное фонарями, непроницаемо, как будто кто-то сдул с него все живое, оставив лишь маску. Он сам на себя не похож. Но по крайней мере, не плачет.

Это придает мне силы духа, чтобы пойти к нему. Или, скорее, к себе — в палату интенсивной терапии, куда, я знаю, он захочет попасть. Адам знаком с бабушкой, дедушкой и кузенами, и, думаю, позже он присоединится к бдению в комнате ожидания. Но сейчас он пришел ко мне.

В палате время по-прежнему стоит. Один из хирургов, трудившихся надо мной раньше, тот самый, который сильно потел и врубил группу «Уизер», когда была его очередь выбирать музыку — проверяет меня.

Свет здесь тусклый и неестественный, он постоянно держится на одном уровне, но циркадные ритмы все равно побеждают, и вечерняя

тишина затопляет палату. Она менее напряженная, чем была днем, как будто и медсестры, и машины немного устали и переключились в энергосберегающий режим.

Так что когда снаружи в коридоре раздается голос Адама, все вздрагивают.

— Что значит: мне нельзя войти? — гремит он.

Я пересекаю палату и встаю прямо напротив автоматических дверей. Слышно, как санитар снаружи объясняет Адаму, что в эту часть больницы ему нельзя.

— Да это же чушь собачья! — вопит Адам.

В палате все медсестры смотрят в сторону двери, их припухшие глаза настрожены и подозрительны. Я совершенно уверена, что они думают: «Неужели нам здесь мало дел, чтобы мы еще успокаивали сумасшедших снаружи?» Мне очень хочется объяснить им, что Адам не сумасшедший, что он никогда не кричит — только в чрезвычайных случаях.

Немолодая сидящая медсестра, которая не подходит к пациентам, а сидит и следит за телефонами и данными на компьютерах, чуть кивает, как будто принимая назначение, и встает. Потом оглаживает мятые белые брюки и направляется к двери. Честно говоря, она — не лучший выбор для разговора с Адамом. Вот бы сказать им, что надо послать сестру Рамирес — ту, которая утешала моих бабушку с дедушкой (и здорово выбила меня из колеи). Она бы смогла его успокоить, но эта только все испортит. Я прохожу следом за ней через двойные двери — туда, где Ким и Адам спорят с санитаром. Тот смотрит на медсестру и объясняет:

— Я сказал, что им нельзя сюда входить.

Медсестра жестом отпускает его.

— Могу я вам помочь, молодой человек? — спрашивает она Адама.

Ее голос звучит раздраженно и нетерпеливо, как у некоторых папиных пожилых коллег по школе, которые, по его словам, только и считают дни до пенсии.

Адам откашливается, пытаясь собраться.

— Я бы хотел навестить пациентку, — говорит он, показывая на дверь, отделяющую его от палаты интенсивной терапии.

— Боюсь, это невозможно, — отвечает медсестра.

— Но моя девушка, Мия, она...

— О ней хорошо заботятся, — обрывает его медсестра.

В ее голосе звучит усталость — слишком большая, чтобы еще и сочувствовать, чтобы быть тронутой юной любовью.

— Я понимаю. И я благодарен за это, — говорит Адам. Он изо всех

сил старается играть по ее правилам, говорить как взрослый, но голос его предательски дрожит. — Мне действительно очень нужно увидеть ее.

— Сожалею, молодой человек, но посещения разрешаются только членам семьи.

Я слышу, как Адам сглатывает. «Члены семьи». Жестокость медсестры ненамеренна, но Адам, возможно, этого не понимает. Мне нужно защитить его — и ее от того, что он может сделать с ней. Я инстинктивно тянусь к нему, хотя и не могу реально коснуться. Но сейчас он ко мне спиной. Его плечи ссутулились, ноги начинают подгибаться.

Ким, до сих пор жавшаяся к стене, вдруг оказывается рядом с Адамом, ее руки обвивают его обмякшее тело. Обеими руками держа его за талию, Ким оборачивается к медсестре, яростно сверкая глазами.

— Вы не понимаете! — кричит она.

— Мне вызвать охрану? — спрашивает медсестра.

Адам машет рукой, покоряясь ей и Ким.

— Не надо, — шепчет он Ким.

И Ким сдается. Не говоря ни слова, она кладет его руку себе на плечо и переносит его вес на себя. Адам сантиметров на тридцать выше и килограммов на двадцать тяжелее Ким, но, дрогнув на секунду, она приспосабливается к дополнительному весу. Она это выдержит.

* * *

У нас с Ким есть такая теория: почти все на свете можно разделить на две группы.

Есть люди, которые любят классическую музыку, и те, кто любит поп. Городские жители и деревенские. Любители колы и любители пепси. Конформисты и вольнодумцы. Девственники и недевственники. И есть девушки, у которых в старших классах появляются парни, а есть те, у кого не появляются.

Мы с Ким всегда считали, что относимся к последней категории.

«Не то чтобы мы будем сорокалетними девственницами и все такое, — уверяла она. — Мы просто будем такими девушками, у которых парень заводится в университете».

Это всегда казалось мне разумным и даже предпочтительным. Мама была из тех девушек, у кого парни появились в старших классах, и часто замечала, что только зря потратила время.

«Девчонки могут сколько угодно хотеть накачаться пивом и заняться сексом на заднем сиденье. Но с теми парнями, с которыми я встречалась, можно было рассчитывать только на романтический вечер».

Папа же, напротив, до университета не встречался с девушками по-настоящему. В старших классах он был застенчив и робок, но когда начал играть на барабанах и в первый год университета вошел в состав панк-группы — бац! — сразу нарисовалась куча подружек. По крайней мере несколько, до тех пор пока он не встретил маму и — бац! — жену. Я почему-то решила, что и со мной так будет.

Так что для меня и для Ким было сюрпризом, когда я перешла в группу номер один — девушек, у которых парень есть. Сначала я пыталась это скрывать. После концерта Йо-Йо Ма я не рассказала Ким никаких подробностей, не упомянула о поцелуе. Я даже логически обосновала недомолвку: нет смысла огород городить из-за поцелуя. Один поцелуй — это еще не отношения. Я целовалась с мальчиками и раньше, и обычно на следующий день поцелуй испарялся, словно капля росы на солнце.

Однако я знала, что с Адамом все иначе. Я поняла это по теплу, затопившему все мое тело тем вечером, когда он высадил меня у дома, еще раз поцеловав на ступеньках крыльца. По тому, как я до утра сжимала в объятиях подушку. По тому, что я не могла есть на следующий день и не могла согнать с лица блаженную улыбку. Я поняла, что поцелуй этот стал дверью, через которую я прошла. И знала, что оставила Ким на той стороне.

Через неделю и еще несколько поцелуев украдкой — я поняла, что Ким надо все рассказать. После школы мы пошли в кофейню. Стоял май, но дождь лил, как в ноябре. У меня чуть перехватывало горло от того, что я должна была сделать.

— Я угощаю. Ты опять будешь какой-нибудь затейливый коктейль? — спросила я.

Это была еще одна категория, выделенная нами: есть люди, пьющие простой кофе, и те, кто предпочитает сложные кофеиновые напитки вроде мятного латте, который так нравился Ким.

— Думаю, попробую латте с корицей и кардамоном, — ответила она, адресуя мне суровый взгляд, говорящий: «И мне не стыдно за мой выбор».

Я купила нам напитки и кусок пирога с ежевикой, захватив две вилки. Потом села напротив Ким и провела вилок по зубчатому краю слоеной корочки.

— Я хочу тебе кое-что рассказать, — начала я.

— Насчет того, что у тебя появился парень? — Голос Ким звучал

весело, но я знала, даже глядя вниз, что она закатила глаза.

— Как ты узнала? — спросила я, встречаясь с ней взглядом.

Она снова закатила глаза.

— Да ладно, все знают. Это самая горячая сплетня после Мелани Фарроу, которая собирается бросить школу и родить ребенка. Почти как если бы кандидат от демократов женился на республиканской кандидатке.

— Кто говорил про женитьбу?

— Это просто метафора, — сказала Ким. — В любом случае, я знаю. И знала даже до того, как ты это поняла.

— Врешь ты все.

— Ничуть не так. Такой парень, как Адам, собирается на концерт Йо-Йо Ма? Он тебя обхаживал.

— Да все не так, — запротестовала я, хотя, конечно же, все было именно так.

— Я только не понимаю, почему ты мне раньше не сказала, — понизила голос Ким.

Я собиралась выдать ей всю свою заготовку про «один-поцелуй-еще-не-отношения» и объяснить, что не хотела делать из мухи слона, но вовремя прикусила язык.

— Я боялась, что ты будешь на меня злиться — призналась я.

— Я не злюсь, — сказала Ким. — Но разозлюсь, если ты еще хоть раз мне соврешь.

— Тогда ладно, — облегченно вздохнула я.

— Или если ты превратишься в одну из тех девиц, которые повсюду таскаются за своим парнем и говорят о себе во множественном числе: «Мы любим зиму. Мы считаем, что «Велвет андеграунд» — эпохальный проект».

— Знаешь, я обещаю не говорить с тобой о роке. В единственном числе или нет — но обещаю.

— Отлично, — ответила Ким. — Потому что если ты вдруг превратишься в такое, я тебя пристрелю.

— Если я превращусь в такое, я сама вручу тебе ружье.

Это рассмешило Ким по-настоящему, и напряжение развеялось. Она сунула в рот кусок пирога.

— И как твои родители восприняли это?

— Папа прошел через все пять стадий горя: отрицание, злость, принятие и все такое — за один день. Думаю, его больше шокирует, что он уже настолько стар, чтобы у его дочери завелся бойфренд. — Я помолчала, отхлебнув глоток кофе и оставив слово «бойфренд» висеть в воздухе. — И

он заявляет, что не может поверить, будто я встречаюсь с музыкантом.

— Но ты же сама музыкант, — напомнила мне Ким.

— Ну, ты ж понимаешь, с панком, поп-музыкантом.

— «Звездопад» — это не панк, это эмо-кор, — поправила Ким.

В отличие от меня она прекрасно разбиралась в мириадах направлений поп-музыки: панке, инди, альтернативе, хардкоре, эмо-коре.

— В основном это, конечно, пустая болтовня, часть его образа «папы-консерватора в галстук-бабочке». Мне кажется, Адам папе нравится. Они встретились, когда Адам забирал меня на концерт. Теперь папа хочет, чтобы я привела его на ужин, но ведь всего неделя прошла. Я не совсем готова к торжественному моменту знакомства с родственниками.

— Думаю, я никогда не буду к этому готова, — Ким содрогнулась от одной мысли. — А что твоя мама?

— Она предложила отвезти меня в «Планирование семьи», ^[23] чтобы мне подобрали таблетки, и велела отправить Адама провериться на всякие болезни. А пока посоветовала сразу запастись презервативами. И даже дала десять баксов, чтобы создать резерв.

— Ты уже? — задохнулась Ким.

— Да нет же, всего неделя прошла, — отмахнулась я. — В этом мы по-прежнему в одной группе.

— Это пока, — заметила Ким.

В еще одну категорию, придуманную нами, входили люди, которые старались быть крутыми, и те, кто не старался. Тут я полагала, что Адам, Ким и я сама относимся к одной группе, потому что хотя Адам и был крут, он не старался. От него это не требовало никаких усилий. Так что я ожидала, что мы трое станем лучшими друзьями. Я ожидала, что Адам будет любить всех, кого люблю я, так же сильно, как я.

Так уже получилось с моей семьей — он практически стал третьим ребенком. Но с Ким это не срабатывало. Адам относился к ней так, как, по моим представлениям, стал бы относиться к такой девушке, как я. Он был вежлив, дружелюбен, но вел себя отстраненно. Он не пытался войти в ее мир или завоевать ее доверие. Я подозревала, что Адам не считал Ким достаточно крутой, и это меня бесило. После того как мы пробыли вместе месяца три, между нами случилась нешуточная ссора по этому поводу.

— Я же встречаюсь не с Ким. Я встречаюсь с тобой, — сказал он, когда я обвинила его в том, что он недостаточно любезен с ней.

— Так и что? У тебя куча друзей среди девушек. Почему не присоединить к этому кругу Ким?

Адам пожал плечами.

— Да не знаю, просто она другая.

— Ты такой сноб! — заявила я, внезапно разъярившись.

Адам уставился на меня, нахмурив брови, как будто я была математической задачей на доске, которую он пытался решить.

— При чем тут сноб? Ведь нельзя же подружиться насильно. У нас с ней просто мало общего.

— Вот это и делает тебя снобом! Ты любишь только тех, кто похож на тебя, — выкрикнула я.

Я разбушевалась, ожидая, что он присоединится к игре, вымаливая прощение, а когда он этого не сделал, моя ярость удвоилась. Чтобы проветриться, я поехала на велосипеде к Ким. Она выслушала мою диатрибу с нарочито скептическим выражением лица.

— Это же просто смешно — говорить, будто ему нравятся только те люди, которые похожи на него, — выговорила она мне, когда я закончила выплескивать злость. — Ему нравишься ты, а ты на него не похожа.

— В этом-то и проблема, — буркнула я.

— Что ж, тогда решай ее. Не втягивай меня в свою драму, — заявила подруга. — Да и если честно, я от него не в восторге.

— Правда?

— Да, Мия. Не все без ума от Адама.

— Я ничего такого и не имела в виду. Просто хочу, чтобы вы подружились.

— Ага, ну а я хочу жить в Нью-Йорке и иметь нормальных родителей. Как сказал тот парень, «не всегда получаешь то, что хочешь». [\[24\]](#)

— Но вы оба очень важны для меня.

Ким посмотрела на мое красное заплаканное лицо и, смягчившись, ласково улыбнулась.

— Мы знаем это, Мия. Но мы из разных частей твоей жизни, точно так же, как музыка и я — из разных. И это нормально. Тебе не обязательно выбирать кого-то одного — по крайней мере, мне так кажется.

— Но я хочу, чтобы эти части моей жизни соединились.

Ким покачала головой.

— Так не получится. Послушай, я принимаю Адама, потому что ты его любишь. И полагаю, он принимает меня, потому что ты любишь меня. Если тебе легче от этой мысли, твоя любовь — вот что связывает нас. И этого достаточно. Нам с ним не обязательно любить друг друга.

— Но я хочу, чтобы вы любили, — прорыдала я.

— Мия, — резкая нота предупреждения в голосе Ким указывала, что конец ее терпения близок. — Ты начинаешь вести себя как те девицы.

Хочешь поискать мне ружье?

Тем же вечером я заехала к Адаму, чтобы извиниться. Он принял мои извинения, рассеянно поцеловав меня в нос. И ничего не изменилось. Они с Ким продолжили вести себя дружелюбно, но отстраненно, как бы я ни пыталась подружить их. Забавно, что я никогда не верила в сентенцию Ким о том, что они неким образом связаны через меня — до этого самого момента, когда увидела ее, почти несущую Адама по больничному коридору.

20:12

Ким и Адам уходят по коридору. Я хочу пойти за ними, но не могу сдвинуться с места, мои призрачные ноги словно прилипли к линолеуму. Только после того, как они исчезают за углом, я встряхиваюсь и плетусь за ними, однако они уже скрылись в лифте.

К этому времени я поняла, что у меня нет никаких сверхъестественных способностей. Я не могу проходить сквозь стены и прыгать в лестничные пролеты. Могу делать только то, что могла бы и в реальной жизни, — правда, другие люди этого не видят. По крайней мере, мне так кажется, потому что никто не замечает, как я открываю двери или нажимаю кнопку лифта. Я могу дотрагиваться до вещей, могу даже поворачивать дверные ручки, но по-настоящему чувствовать прикосновение к чему-либо или к кому-либо не могу. Как будто взаимодействую с миром из аквариума. Целиком это никак не укладывается у меня в голове — как, впрочем, ничто из событий сегодняшнего дня.

Я решаю, что Ким с Адамом направляются в комнату ожидания, чтобы присоединиться к семейному бдению, но когда добираюсь туда, моих родственников там не застаю. На креслах лежит грудa пальто, курток и свитеров; я узнаю яркий оранжевый пуховик кухни Хедер. Она живет в глуши и любит бродить по лесам — а там, по ее словам, кислотные цвета необходимы, чтобы пьяные охотнички случайно не приняли тебя за медведя.

Я смотрю на настенные часы. Похоже, сейчас время ужина. Я снова бреду по коридорам — к столовой, так же воняющей чем-то жареным и варено-овощным, как и любая другая. Несмотря на неаппетитные запахи, столовая забита людьми. Столики заняты врачами, медсестрами и нервными студентами-медиками в коротких белых халатах, с блестящими, словно игрушечными, стетоскопами. Все они поглощают картонную пиццу и сублимированное картофельное пюре. Я не сразу замечаю свою семью, сгрудившуюся вокруг столика. Бабушка болтает с Хедер, дедушка сосредоточенно жует сэндвич с индейкой.

Тетя Кейт и тетя Диана сидят в углу и о чем-то шепчутся.

— Несколько царапин и синяков. Его уже выпустили из больницы, — говорит тетя Кейт.

Целую секунду я думаю, будто она говорит о Тедди, и прихожу в такой восторг, что чуть не плачу. Но, услышав об отсутствии алкоголя в его

организме, о том, как нашу машину вдруг вынесло на его полосу и что некто по имени мистер Дунлап говорит, будто у него не было времени остановиться, я понимаю: они говорят не о Тедди — речь идет о другом водителе.

— Полиция сказала, это случилось из-за снега или олень заставил их вильнуть, — продолжает тетя Кейт. — И очевидно, такой неравный итог — вполне обычное дело. У одной стороны все прекрасно, а у второй чудовищные травмы... — Она умолкает.

Вряд ли с мистером Дунлапом «все прекрасно», какими бы легкими ни оказались его ранения. Я пытаюсь представить себя на его месте: вот он проснулся во вторник утром, сел в свой грузовик, чтобы отправиться на работу, или на заправку, или в закусочную «У Лоретты», где обычно заказывал яичницу, обжаренную с двух сторон. Возможно, мистер Дунлап был совершенно счастлив или абсолютно несчастен, жил с женой и детьми или по-холостяцки. Но кем и каким бы он ни проснулся этим ранним утром, он уже никогда не будет прежним. Его жизнь тоже безвозвратно изменилась. Если то, что говорит моя тетя, правда и авария случилась не по его вине, тогда он — «невезучий болванчик», как сказала бы Ким, и оказался не в то время не в том месте. Из-за его невезучести и из-за того, что он на своем грузовике направлялся сегодня утром на восток по трассе двадцать семь, двое детей остались без родителей и по меньшей мере один из них в тяжелом состоянии.

Как жить с этим? На секунду я вообразила, как выздоравливаю, выбираюсь отсюда и приезжаю в дом мистера Дунлапа, чтобы облегчить его ношу, уверить бедолагу, что это не его вина. Возможно, мы бы даже подружились.

Конечно, на самом деле все вряд ли получилось бы так. Нам было бы неловко и печально. Кроме того, я до сих пор понятия не имею, что решу, а главное, по-прежнему не представляю, как можно выбрать, оставаться или нет. Пока я этого не определю, мне придется положиться на судьбу, или на врачей, или на тех, кто ведает такими вопросами, когда сам решающий слишком растерян, чтобы выбрать между лифтом и лестницей.

Мне нужен Адам. Я бросаю последний взгляд, надеясь увидеть его и Ким, но их здесь нет, так что я направляюсь вверх по лестнице, обратно в палату.

Я нахожу их на этаже травматологии, за пару коридоров от своей палаты. Адам и Ким, стараясь выглядеть естественно и непринужденно, проверяют двери всевозможных кладовых. Обнаружив наконец незапертую, они пробираются внутрь и топчутся там в темноте, ища

выключатель. Мне очень не хочется их огорчать, но на самом деле он снаружи, в коридоре.

— Такие номера проходят только в кино, — говорит Ким Адаму, шаря рукой по стене.

— Все выдумки основаны на фактах, — отвечает он.

— Ты совсем не похож на врача.

— Я собирался притвориться санитаром. Или уборщиком.

— Зачем бы уборщику заходить в палату интенсивной терапии? — спрашивает Ким.

Она ужасно придирчива к такого рода деталям.

— Лампочка перегорела. Не знаю. Все дело в том, как это проверить.

— Я все равно не понимаю, почему бы тебе просто не пойти к ее родным? — спрашивает прагматичная Ким. — Наверняка ее бабушка с дедушкой смогут все объяснить и провести тебя к Мие.

Адам качает головой.

— Знаешь, когда медсестра угрожала вызвать охрану, моей первой мыслью было: «Надо позвать родителей Мии уладить это», — Адам замолкает и делает несколько глубоких вдохов. — Это просто обрушивается на меня снова и снова, и каждый раз как первый, — говорит он охрипшим голосом.

— Я понимаю, — шепотом отвечает Ким.

— В любом случае, — продолжает Адам, возобновляя поиски выключателя, — я не могу пойти к ее бабушке и дедушке. Я не могу еще больше утяжелять их ношу. Я должен сделать это сам.

Я уверена, что бабушка с дедушкой были бы счастливы помочь Адаму. Они много раз встречались с ним, и он им очень нравится. На Рождество бабушка всегда старается приготовить для него сливочную помадку с кленовым сиропом, потому что Адам как-то упомянул, что очень ее любит.

Но я также знаю, что иногда Адаму просто необходимо сделать что-то эффектное. Он обожает яркие жесты. К примеру, две недели копить деньги с чаевых за развозку пиццы, чтобы повести меня на концерт Йо-Йо Ма, вместо того чтобы просто предложить встретиться. Или целую неделю украшать мой подоконник цветами, когда я заразилась ветрянкой.

Теперь Адам сосредоточился на новой идее. Я не знаю, какой у него план, да это и неважно — главное, чтобы он вышел из того ужасного оцепенения, в которое погрузился за дверью моей палаты полчаса назад. Мне уже знакома эта его сосредоточенность. Таким он обычно становится, когда сочиняет новую песню или пытается убедить меня сделать то, чего я не хочу. Например, пойти с ним в палаточный поход. В такие минуты

может происходить что угодно — пусть даже метеорит упадет на землю, Адам не откажется от своей затеи.

Насколько я могу судить, планирует он старейший больничный трюк, заимствованный из фильма «Беглец», который мы недавно смотрели с мамой. Мне этот план кажется сомнительным, Ким тоже.

— Ты не думаешь, что медсестра может узнать тебя? — спрашивает Ким. — Ты же на нее наорал.

— Она не сможет меня узнать, если не увидит. Теперь я понимаю, почему вы с Мией не разлей вода. Парочка Кассандр.

Адам никогда не встречался с миссис Шейн и не понимает, что намеки на мнительность Ким — повод для ссоры. Ким сердито хмурится, но потом, видимо, сдаётся.

— Может, этот твой дебильный план сработает лучше, если мы хотя бы будем видеть, что делаем.

Она роется в сумке, вытаскивает мобильник, который мама всучила ей лет в десять, — Ким называет его «детская противоугонная сигнализация» — и включает экран. Квадрат света чуть рассеивает темноту.

— Вот это уже больше похоже на умницу, которую нахваливает Мия, — говорит Адам и включает собственный телефон. Теперь комнатка тускло освещена.

Увы, свет озаряет ворох веников, ведро и пару швабр, но здесь нет никакой одежды, на которую надеялся Адам. Если бы я могла, то сообщила бы им, что в больнице есть комнаты со шкафчиками, где врачи и медсестры оставляют уличную одежду и переодеваются в медицинскую форму или лабораторные халаты. Единственный общебольничный наряд, какой можно найти — это те самые сомнительного вида сорочки, в которые тут облачают пациентов. Адам, пожалуй, мог бы нацепить такую и неузнанным проехать по коридорам в кресле-каталке, но вряд ли подобная уловка поможет ему попасть в мою палату.

— Вот черт, — вздыхает Адам.

— Мы можем попробовать еще, — вдруг решает поддержать его Ким. — Здесь не меньше десяти этажей. Наверняка есть другие незапертые кладовые.

Адам садится на пол.

— Нет, ты права. Это глупо. Нужно придумать план получше.

— Ты мог бы изобразить передозировку наркотиков или что-нибудь еще, чтобы тебя поместили в реанимацию, — предлагает Ким.

— Это же Портленд. Тут здорово повезет, если с передозом хотя бы отвезут в пункт первой помощи, — возражает Адам. — Нет, я теперь

думаю об отвлекающем маневре. Ну, устроить что-нибудь типа пожарной тревоги, чтобы все медсестры выбежали оттуда.

— Ты действительно думаешь, что огнетушители и паника среди медсестер принесут Мие пользу? — спрашивает Ким.

— Ну, не тревогу, но что-то такое, чтобы все отвернулись на полсекунды, а я бы тихонько просочился внутрь.

— Тебя тут же обнаружат. И выкинут пинком под зад.

— Неважно, — отвечает Адам. — Мне бы всего секундочку.

— Зачем? В смысле, что ты сможешь сделать за одну секунду?

Адам на мгновение умолкает. Его глаза, обычно серо-буро-зеленые, темнеют.

— Так я смогу показать ей, что я здесь. Что хоть кто-то еще здесь.

После этого Ким больше не задает вопросов. Они сидят в темноте, каждый погружен в свои мысли, и я вспоминаю, как мы с Адамом тоже можем не говорить ни слова, но прекрасно чувствовать друг друга. Я понимаю, что теперь они друзья, настоящие друзья. Что бы ни случилось дальше, по крайней мере этого я добилась.

Минут через пять Адам стучит себя по лбу.

— Ну конечно, — говорит он.

— Что?

— Пора послать сигнал Бэтмену.

— Чего?

— Пойдем. Я тебе покажу.

* * *

Когда я только начала играть на виолончели, папа еще барабанил в своей группе, хотя через пару лет после рождения Тедди все реже и реже. Но с самого начала я поняла: расхождения между классической музыкой и прочей не исчерпываются явным недоумением родителей по поводу моих музыкальных вкусов; есть отличия и в исполнении. Моя музыка игралась сольно. То есть папа, конечно, мог часами самостоятельно лупить по своей установке или писать в одиночку песни за кухонным столом, бренча мотив на потрепанной гитаре, но он всегда говорил, что песни по-настоящему рождаются, когда их играют. В этом-то главный интерес.

Но я в основном играла в одиночку в своей комнате. Даже когда я занималась с постоянно сменяющимися друг друга университетскими

студентами, вне уроков я все равно играла одна. И когда я давала сольный концерт или выступала в смешанной программе, то тоже выходила к публике в одиночку — только с виолончелью. И в отличие от папиных концертов, где восторженные поклонники запрыгивали на сцену и рыбкой ныряли в толпу, между мной и публикой всегда была стена. Через некоторое время мне стало одиноко и грустно так играть — и я немного заскучала.

Так что весной восьмого класса я решила все это бросить. Уходить я собиралась потихоньку: сокращать свои бесконечные занятия, не давать сольных концертов. Я рассчитала, что если буду бросать постепенно, то к осени, когда пойду в старшие классы, смогу начать новую жизнь, и меня больше не будут звать «виолончелисткой». Может быть, я бы выбрала тогда новый инструмент — гитару, бас или даже барабаны. К тому же мама была слишком занята с Тедди, чтобы отмечать продолжительность моих занятий, а папа корпел над планами уроков и составлял отчетность по успеваемости на своей новой учительской работе. Так что мне казалось, никто даже не поймет, что я перестала заниматься, пока дело уже не будет сделано. По крайней мере, так я убеждала себя. Но правда заключалась в том, что бросить виолончель для меня было равно что перестать дышать.

Возможно, я и в самом деле бросила бы, если бы не Ким. Однажды днем я пригласила ее поехать в центр города после школы.

— Сегодня же будний день. Разве тебе не нужно заниматься? — спросила она, набирая цифровую комбинацию на своем шкафчике.

— Я сегодня могу пропустить, — ответила я, притворяясь, что ищу учебник по землеведению.

— Неужто Мию похитили инопланетяне из стручка? ^[25]Сначала никаких концертов. А теперь пропускаешь занятия. Что происходит?

— Не знаю, — сказала я, постукивая пальцами по шкафчику. — Я думаю попробовать какой-нибудь новый инструмент. Например, барабаны. Папина установка до сих пор пылится в подвале.

— Ну да, ты — на барабанах. Не смейся, — ухмыльнулась Ким.

— Я серьезно.

Ким уставилась на меня с открытым ртом, как будто я заявила, что собираюсь поджарить на ужин слизняков.

— Ты не можешь бросить виолончель, — заявила она после секунды ошарашенного молчания.

— Почему это?

Ким поморщилась как от боли.

— Я не знаю, как объяснить, но твоя виолончель — это часть тебя

самой. Я просто не могу представить тебя без этой штуки между коленей.

— Не глупи. Я даже в школьном марширующем оркестре не могу играть. И вообще, ну кто сейчас играет на виолончели? Одни старики. Для девушки это идиотский инструмент. Он такой скучный. И потом, мне нужно больше свободного времени на развлечения.

— Какие такие «развлечения»? — с сомнением поинтересовалась Ким.

— Ну ты что, не знаешь? Болтаться по магазинам, с тобой тусоваться.

— Да брось, — возразила Ким. — Ты же ненавидишь ходить по магазинам. А со мной и так кучу времени проводишь. Ладно, сегодня занятия можешь пропустить. Хочу тебе кое-что показать.

Она притащила меня к себе домой, нашла диск «Нирвана Эм-ти-ви анплагд» ^[26] и поставила мне «Something in the Way».

— Послушай это, — сказала она. — Два гитариста, ударник и виолончелистка. Ее зовут Лори Голдстон, и могу спорить, она, когда была помладше, занималась по два часа в день, как одна моя знакомая девочка, потому что, если хочешь играть в симфоническом оркестре или с «Нирваной», это необходимо. И не думаю, чтобы кто-то рискнул назвать ее скучной идиоткой.

Я взяла диск с собой и слушала его снова и снова всю следующую неделю, обдумывая то, что сказала Ким. Несколько раз я вытаскивала виолончель и подыгрывала песням. Эта музыка, вызывающая и странно бодрящая, была совсем не похожа на ту, что я играла раньше. Я собиралась сыграть Ким «Something in the Way» на следующей неделе, когда она придет к нам на ужин.

Но мне не представилась такая возможность: за ужином Ким непринужденно заявила моим родителям, что, по ее мнению, мне необходимо поехать в летний лагерь.

— Как, ты хочешь, чтобы я поехала с тобой в лагерь Торы? Пытаешься обратить меня в свою веру? — спросила я.

— Да нет же. Это музыкальный лагерь. — Она вытащила рекламный буклет с броской надписью: «Консерватория Франклин Вэлли, летняя программа в Британской Колумбии». — Это для серьезных музыкантов, — подчеркнула Ким. — Чтобы туда попасть, надо отправить запись твоей игры. Я позвонила и все выяснила. Последний срок подачи заявки — первое мая, так что время еще есть. — Она развернулась ко мне, словно предлагая разозлиться на нее за вмешательство.

Но я не злилась. Мое сердце колотилось так, будто Ким объявила, что моя семья выиграла в лотерею, и вот-вот скажет, сколько именно. Я смотрела на подругу, на ее встревоженные глаза, так предательски

противоречащие бравой ухмылке, и меня переполняла благодарность за то, что я дружу с человеком, который зачастую понимает меня лучше, чем я сама. Папа спросил, хочу ли я поехать, и, когда я стала говорить о деньгах, велел не беспокоиться об этом. Хочу ли я поехать? Я хотела — больше всего на свете.

Три месяца спустя, когда папа привез меня в унылый пустынный уголок острова Ванкувер, я уже была не столь уверена в своем желании. Место выглядело как типичный летний лагерь: бревенчатые домики в лесу, байдарки на пляже. Там было около пятидесяти детей — судя по их приветственным воплям и объятиям, давно знакомых друг с другом. Я же никого не знала. В первые шесть часов со мной никто не разговаривал, кроме помощника директора лагеря, который проводил меня к домику, показал мою кровать и махнул рукой в сторону столовой, где в тот вечер мне вручили тарелку чего-то непонятного, оказавшегося мясным рулетом.

Я скорбно пялилась в тарелку, изредка поглядывая на пасмурный серый вечер за окном. Я уже скучала по родителям, по Ким и особенно по Тедди. У него как раз начался самый забавный период, он хотел попробовать все новые вещи, постоянно спрашивал: «А это что?» — и изрекал уморительнейшие сентенции. В день перед моим отъездом он сообщил мне, что хочет пить «на девять десятых», и я чуть не описалась со смеху. Тоскуя по дому, я вздохнула и начала возить сомнительный на вид рулет по тарелке.

— Не волнуйся, здесь не каждый день идет дождь. Только через день.

Я подняла глаза. Рядом стоял хитроглазый мальчишка, на вид не старше десяти лет. Белобрысая голова его была острижена ежиком, а на носу красовалось созвездие веснушек.

— Догадываюсь, — сказала я. — Я сама с Северо-Запада, хотя когда я уезжала сегодня утром, там было солнце. Меня больше волнует этот рулет.

Мальчик рассмеялся.

— Он лучше не станет. Но арахисовое масло и джем всегда хороши, — сказал он, указав на стол, где полдюжины детей мастерили себе сэндвичи. — Питер. Тромбон. Онтарио, — представился он.

Как я потом узнала, это было стандартной формулой знакомства во «ФранкLINE».

— О, привет. Я, видимо, Мия-виолончель-Орегон.

Питер сказал, что ему тринадцать и он здесь уже второе лето; почти все начали в двенадцать, поэтому и знали друг друга. Из пятидесяти учащихся около половины играли джаз, а остальные — классику, так что группа получалась небольшая. Виолончелистов кроме меня было только

двое, один из них — долговязый рыжеволосый парень по имени Саймон, которого Питер подозвал, помахав ему рукой.

— Ты будешь подавать заявку на концертный конкурс? — спросил меня Саймон, как только Питер представил меня как «Мию. Виолончель. Орегон».

Саймон был «Саймон. Виолончель. Лестер», последний оказался городом в Англии. Компания собралась вполне интернациональная.

— Сомневаюсь. Я даже не знаю, что это такое, — ответила я.

— Ну, ты ведь знаешь, что мы все играем в оркестре в финальной симфонии? — спросил меня Питер.

Я кивнула, хотя на самом деле имела об этом весьма смутное представление. Папа всю весну зачитывал вслух какие-то сведения об устройстве лагеря, но мне было важно только то, что я встречусь там с другими классическими музыкантами. На подробности я особенного внимания не обращала.

— Это симфония конца лета. На нее приезжают отовсюду, это довольно большое событие. Мы, самые младшие, участвуем во всяких забавных вставных номерах, — пояснил Саймон. — Но еще выбирают одного музыканта из лагеря, и он играет с профессиональным оркестром и выступает с сольным номером. В прошлом году я почти выиграл, но потом победа досталась одному флейтисту. Это мой предпоследний шанс перед выпуском. Струнным уже давненько не удавалось выиграть, а Трейси, третья из нашего маленького трио, не будет пытаться. Она больше для удовольствия играет, хорошо, но не слишком серьезно. А ты, я слышал, такая серьезная.

Я серьезная? Уж не настолько, если чуть не бросила.

— Где ты это услышал? — спросила я.

— Учителя прослушивают все заявочные записи, вот слухи и просочились. Твоя запись точно была очень хорошая. На второй год обычно уже не берут. Так что я надеялся на сильного соперника, чтобы тянуться за лидером, так сказать.

— Эй, дай девушке шанс, — запротестовал Питер. — Она еще только попробовала мясной рулет.

Саймон сморщил нос.

— Прошу прощения. Но если ты захочешь пошептаться насчет прослушивания, я готов, — и он удалился в направлении кафе-мороженого.

— Извини Саймона. У нас года два не было классных виолончелистов, так что он в восторге от свежей крови. Чисто эстетически. Он голубой, хотя, может, и нет — с ними, англичанами, не поймешь.

— А, понятно. Но что он такое сказал? В смысле, он что, хочет, чтобы я с ним соревновалась?

— Конечно хочет. В этом же весь кайф. Ради этого мы все здесь, в лагере посреди мерзкого мокрого леса, — сказал Питер, указывая за окно. — И ради изумительной кухни, конечно. — Он посмотрел на меня. — Разве ты здесь не для этого?

Я пожала плечами.

— Не знаю. Я никогда не играла с такой кучей народа, да еще такого серьезного народа.

Питер почесал ухо.

— Правда? Ты же сказала, что приехала из Орегона. А с «Портленд челло проджект» ты когда-нибудь играла?

— С кем с кем?

— Ну, такой авангардный виолончельный коллектив. Очень интересные работы.

— Я живу не в Портленде, — буркнула я, смущенная тем, что даже не слышала ни о каком «Челло проджект».

— Ладно, а с кем ты тогда играешь?

— С другими людьми. В основном со студентами из университета.

— А в оркестре? Или в ансамбле камерной музыки? В струнном квартете?

Я покачала головой, припомнив, что как-то раз одна из моих учительниц-студенток приглашала меня поиграть в квартете. Я отказалась, потому что играть вдвоем с ней было одно, а с совершенно незнакомыми людьми — другое. Я всегда полагала, что виолончель — одиночный инструмент, но теперь вдруг задумалась: может, это я одиночка?

— Хм. А как ты вообще можешь хорошо играть? — удивился Питер. — То есть я не хочу показаться хамом и козлом, но разве не так становятся хорошими музыкантами? Это как теннис. С неумехой в конце концов начинаешь пропускать удары или играть расхлябанно, но с асом вдруг оказываешься у сетки и подаешь отличные мячи.

— Я и не знала, — сказала я Питеру, чувствуя себя ужасно замшелой и скучной. — В теннис я тоже не играю.

Следующие несколько дней прошли как в тумане. Я так и не поняла, зачем на пляже лежали байдарки, — времени на развлечения здесь не было. За день я совершенно выматывалась. Подъем в шесть тридцать, завтрак в семь, по три часа утром и днем на самостоятельные занятия, и репетиция оркестра перед ужином.

Раньше я никогда не играла больше чем с одним или двумя

музыкантами, так что первые дни в оркестре для меня были сплошным хаосом. Музыкальный директор лагеря, он же и дирижер, с огромным трудом всех рассадил, а потом из кожи вон лез, чтобы заставить нас сыграть простейшие пьесы более-менее в такт. На третий день он принес колыбельные Брамса. В первый раз они прозвучали отвратительно. Инструменты не столько сочетались, сколько сталкивались, словно камешки, попавшие в газонокосилку.

«Ужасно! — завопил дирижер. — Как вы надеетесь играть в профессиональном оркестре, если не можете удержать ритм в колыбельной? Еще раз!»

Примерно через неделю все начало приобретать форму, и я впервые почувствовала себя винтиком в машине. Это помогло мне услышать виолончель совершенно по-новому: как ее низкие ноты согласуются с высокими нотами альты, как она создает опору для деревянных духовых на другой стороне оркестровой ямы. И хотя можно подумать, что, будучи частью группы, позволительно немного расслабиться, меньше заботиться о своем звучании в общем потоке, все ровно наоборот.

Я сидела за семнадцатилетней альтисткой по имени Элизабет. Она была одним из самых опытных музыкантов в лагере — ее уже приняли в Королевскую консерваторию в Торонто — и к тому же красива как супермодель: высокая, с царственной осанкой, с кожей кофейного цвета и острыми, точеными скулами. Я бы поддалась искушению возненавидеть ее, если бы не ее игра. При невнимательности альт может издавать совершенно чудовищный скрежет, даже в руках опытных музыкантов. Но у Элизабет он звенел чисто, ясно и легко. Слушая ее и глядя, как глубоко она погружается в музыку, я сама захотела играть так. И даже лучше. Я захотела не только переплюнуть ее, но также ощутила, что должна — ей, всей группе, себе — играть на ее уровне.

— Звучит очень красиво, — сказал Саймон ближе к концу смены, послушав, как я репетирую отрывок из Второго виолончельного концерта Гайдна — тот самый, с которым у меня были огромные сложности, когда я впервые попробовала его прошлой весной. — Ты будешь это играть на концертном конкурсе?

Я кивнула. Потом не выдержала и ухмыльнулась. Каждый вечер после ужина и до отбоя мы с Саймоном выносили свои виолончели на улицу и устраивали импровизированные концерты в долгих сумерках. Мы по очереди вызывали друг друга на виолончельные дуэли, где каждый в исступлении старался переиграть другого. Мы постоянно соревновались, постоянно пытались узнать, кто может сыграть лучше, быстрее, на память.

Это было невероятно увлекательно, захватывающе, и, пожалуй, еще и поэтому я так гордилась своим Гайдном.

— Ах, кто-то чрезвычайно уверен в себе. Думаешь, сможешь меня переиграть? — спросил Саймон.

— В футбол — точно, — пошутила я.

Саймон часто рассказывал нам, что всю жизнь в семье он белая ворона — не потому, что гей или музыкант, а потому, что «хреновый футболист».

Саймон притворился, что я ранила его в самое сердце, а потом расхохотался.

— Удивительные штуки случаются, когда ты перестаешь прятаться за этим громоздким чудовищем, — сказал он, указывая на мою виолончель. Я кивнула. Саймон улыбнулся мне. — Ладно-ладно, только не надо так нос задирать. Послушала бы ты моего Моцарта. Он звучит словно хор чертовых ангелов.

Ни один из нас не выиграл в тот год сольный номер. Победила Элизабет. И пусть бы это заняло у меня еще четыре года, в конце концов я бы обязательно получила соло.

21:06

— У меня есть ровно двадцать минут, прежде чем наш менеджер изойдет дерьмом от злости. — В притихшем больничном вестибюле гремит хриплый резкий голос Брук Веги.

Так вот в чем идея Адама: Брук Вега, богиня инди-музыки и солистка группы «Бикини». В шикарном панковском прикиде — сегодня это короткая юбка-пузырь, сетчатые чулки, высокие черные кожаные сапоги, с фантазией изорванная футболка «Звездопада», поверх нее винтажный меховой жакетик-болеро, на глазах черные очки в стиле Жаклин Онассис — она выглядит в больничном вестибюле так же неуместно, как устрица посреди курятника. Вокруг нее толпятся люди: Лиз и Сара; Майк и Фитци — ритм-гитарист и басист «Звездопада» соответственно — плюс группка портлендских хипстеров, смутно мне знакомых. Со своими ярко-розовыми волосами Брук подобна солнцу, вокруг которого вращаются восхищенные планеты. Адам, словно луна, стоит поодаль, поглаживая подбородок. А вот Ким выглядит настолько ошеломленной, будто в здание только что вошла толпа марсиан. Возможно, это потому, что Ким обожает Брук Вегу. Да и Адам на самом деле тоже. Помимо меня она — одно из немногих общих для них увлечений.

— Мы уложимся за пятнадцать, — обещает Адам, вступая в ее галактику.

Дива шагает к нему.

— Адам, дорогой, — тихо и с чувством говорит она, — ты как, держишься?

Брук заключает его в объятия, будто старого друга, хотя я знаю, что они сегодня впервые встретились: только вчера Адам рассказывал мне, как волнуется на этот счет. Но теперь она ведет себя как его лучшая подруга. Видимо, такова власть сцены. Когда она обнимает Адама, я вижу, как каждый парень и девушка в вестибюле с жадностью смотрят на них, мечтая, наверное, чтобы их близкий человек лежал сейчас наверху в тяжелом состоянии, тогда они смогли бы получить утешительное объятие от Брук.

— Ладно, ребятки, время рок-н-ролла. Адам, какой у нас план? — спрашивает Брук.

— Ты — наш план. Я, признаться, придумал только, что ты идешь в интенсивную терапию и устраиваешь там шумиху.

Брук облизывает пухлые красные губы.

— Устраивать шумиху — одно из моих любимых занятий. Как думаешь, что стоит сделать? Испустить сценический вопль? Раздеться? Разбить гитару? Погоди, я же не принесла свою гитару. Черт.

— Может, споешь что-нибудь? — спрашивает кто-то.

— Как насчет той старой песни «Смите», ^[27]«Girlfriend in a Coma»? — предлагает другой.

Адам белеет от такого внезапного напоминания о действительности, и Брук резко и осуждающе вздергивает брови. Все становятся серьезными.

Ким покашливает.

— Кхм, нам ничего не даст, если Брук устроит шоу в вестибюле. Нужно пойти наверх, и кто-нибудь крикнет, что здесь Брук Вега. Это может помочь. Если нет, тогда петь. Все, чего мы на самом деле хотим — это выманить пару любопытных медсестер, а за ними и ту вредную старшую. Как только она выйдет из палаты и увидит в коридоре всех нас, она будет слишком занята, чтобы заметить, что Адам пробрался внутрь.

Брук оценивающе разглядывает Ким, в ее потрепанных черных штанах и растянутом свитере. Потом звезда улыбается и протягивает руку моей лучшей подруге.

— Похоже на план. Давайте живенько, ребятки.

Я отстаю, наблюдая, как процессия хипстеров несется через холл. Беззастенчивый шум их тяжелых ботинок и громких голосов, опьяненных ощущением срочности и важности, рикошетом отдается в тишине больницы и вдыхает немного жизни в это унылое место. Помню, я смотрела по телевизору передачу о домах престарелых, в которых разрешается заводить собак и кошек, чтобы взбодрить пожилых и умирающих людей. Возможно, всем больницам стоит приглашать хулиганистых панк-рокеров, чтобы придать живительный импульс сердцам чахнувших пациентов.

Группа останавливается перед лифтом, бесконечно ожидая достаточно пустого, чтобы увезти всех сразу. Я решаю, что хочу быть рядом со своим телом, когда Адам проберется в палату. Интересно, смогу я почувствовать его прикосновение? Пока они ждут у лифтов, я тороплюсь к лестнице.

Я отсутствовала в палате интенсивной терапии больше двух часов, и здесь многое изменилось. На одной из пустовавших коек теперь новый пациент — мужчина средних лет. Его лицо напоминает картину сюрреалиста: половина выглядит нормальной, даже красивой, а вторая — месиво крови, марли и швов, как будто кто-то просто-напросто оторвал ее. Возможно, это огнестрельная рана. У нас здесь бывает множество

несчастных случаев на охоте. Другой пациент, который был так плотно забинтован, что я не могла разобрать, какого он пола, исчез. На его (или ее) месте лежит женщина, чью шею фиксирует специальная штукавина вроде воротника.

А я теперь отключена от респиратора. Вспоминаю, как соцработница говорила моим бабушке, дедушке и тете Диане, что это положительный сдвиг. Я останавливаюсь, пытаюсь уловить в себе какие-то новые ощущения, но ничего не чувствую — по крайней мере, физически. Так продолжается с утра, с тех пор, как я в машине слушала Третью виолончельную сонату Бетховена. Теперь, когда я дышу сама, моя стена машин пищит гораздо меньше, так что и медсестры ко мне подходят реже. Сестра Рамирес, единственная здесь с маникюром, то и дело поглядывает на меня, но она занята новым парнем с половиной лица.

— Опухнуть! Это что, Брук Вега? — вопрошает кто-то невозможно фальшивым тоном за автоматическими дверями палаты.

Я никогда раньше не слышала, чтобы друзья Адама говорили как в дурацких подростковых фильмах. Видимо, это у них больничная, подвергнутая санитарной обработке версия «охренеть».

— В смысле, Брук Вега из «Бикини»? Брук Вега, которая была на обложке «Спин» ^[28] в прошлом месяце? Здесь, в этой самой больнице?

На этот раз говорит Ким. Она произносит слова как шестилетняя девочка, зачитывающая строчки из школьной пьесы о группах пищевых продуктов: «Значит, надо есть по пять порций фруктов и овощей в день?»

— Да, это я, — звучит хриплый голос Брук. — Я здесь, чтобы протянуть руку рок-н-рольной помощи всем людям Портленда.

Пара молоденьких медсестер — те, которые, возможно, слушают популярное радио или смотрят канал Эм-Ти-Ви и слышали о «Бикини», — поднимают головы, на их лицах читается взволнованный вопрос. Я слышу, как они шепчутся, желая посмотреть, правда ли это Брук, или, может быть, просто радуются перерыву в рутине.

— Да, это правда я. Я решила спеть маленькую песенку, одну из моих любимых. Она называется «Ластик», — говорит Брук. — Кто-нибудь из вас, ребята, хочет мне подстучать?

— Мне нужно что-нибудь, чем можно стучать, — отвечает Лиз. — У кого-нибудь есть ручки или что-то в этом роде?

Теперь медсестры и санитары в палате уже всерьез заинтригованы и движутся к двери. Все разворачивается передо мной, словно в кино. Я стою рядом со своей кроватью, глядя на двойные двери, и жду, когда они откроются. От нетерпения я едва сдерживаюсь. Я думаю об Адаме, о том,

как успокаивают его прикосновения, когда он рассеянно гладит мне шею сзади или дует горячим воздухом на мои холодные руки, тогда я просто лужицей растекаюсь.

— Что происходит? — вопрошает старшая медсестра.

Внезапно все сестры поворачиваются к ней, они больше не торопятся увидеть Брук. Никто не пытается объяснить, что там, снаружи, известная поп-звезда. Момент упущен. Я чувствую, как напряжение сменяется разочарованием. Дверь не откроется.

Брук начинает громко распевать «Ластик». Даже а капелла, даже сквозь двойные автоматические двери ее прекрасно слышно.

— Кто-нибудь вызовите охрану. Сейчас же, — рычит старшая медсестра.

— Адам, лучше просто иди туда! — кричит Лиз. — Сейчас или никогда. В атаку!

— Иди! — орет вдруг Ким, как армейский командир. — Мы тебя прикроем.

Дверь открывается. Внутрь вваливаются больше полудюжины панков, Адам, Лиз, Фитци, еще какие-то незнакомые мне люди и, наконец, Ким. Снаружи Брук по-прежнему поет, как будто это концерт, ради которого она и приехала в Портленд.

Когда Адам и Ким врываются в палату, они выглядят решительно, даже радостно. Я поражена их стойкостью, скрытыми в них силами. Мне хочется запрыгать, болея за них, как я обычно делала на детском бейсболе Тедди, когда он добегал до третьей базы и направлялся «домой». Трудно поверить, но, глядя на Ким и Адама в действии, я тоже почти чувствую себя счастливой.

— Где она? — кричит Адам. — Где Мия?

— В углу, рядом с кладовкой! — кричит кто-то. Только через секунду я понимаю, что это сестра Рамирес.

— Охрана! Взять его! Взять! — вопит сердитая медсестра.

Она выделила Адама из всех прочих пришельцев, и ее лицо розовеет от злости. В палату вбегают два больничных охранника и два санитары.

— Слышь, это что, Брук Вега была? — спрашивает один, налетая на Фитци и толкая его к выходу.

— Кажись, да, — отвечает второй, хватая Сару и выставляя ее за дверь.

Ким заметила меня и кричит:

— Адам, она здесь! — Потом поворачивается посмотреть на меня, и крик застревает у нее в горле. — Она здесь, — повторяет Ким, только уже

дрожащим от слез голосом.

Адам слышит ее и, увернувшись от медсестер, пробирается ко мне. И вот он здесь, в изножье моей кровати, тянет руку, чтобы коснуться меня. Его рука все ближе. Неожиданно я вспоминаю о нашем первом поцелуе после концерта Йо-Йо Ма — я тогда не представляла, как сильно хочу ощутить его губы на своих, пока поцелуй не стал неизбежен. Я и сейчас не понимала, до какой степени жажду его прикосновения, пока его руки почти не дотянулись до меня.

Почти. Но внезапно он отодвигается от меня. Двое охранников держат его за плечи и волокут назад. Один также хватается за локоть Ким и выпроваживает ее. Теперь она сникла и не оказывает сопротивления.

Брук все еще поет в коридоре. Увидев Адама, она замолкает.

— Прости, дорогой, — говорит она. — Мне надо валить, пока я не пропустила концерт. Или пока меня не арестовали, — и она уходит по коридору, а за ней бегут два санитары, моля об автографе.

— Вызовите полицию, — надсадно кричит старшая медсестра. — Пусть его арестуют.

— Мы уведем его вниз, в службу безопасности. Такой порядок, — говорит один охранник.

— Мы не можем арестовывать, — добавляет другой.

— Просто уберите его из моей палаты. — Она фыркает и отворачивается. — Мисс Рамирес, я очень надеюсь, что не вы подстрекали это хулиганье.

— Конечно нет. Я была в кладовой и пропустила весь тарарам, — отвечает та.

Она превосходно умеет врать, так что ее лицо ничего не выдает.

Старшая медсестра хлопает в ладоши.

— Все, шоу закончилось. Возвращайтесь к работе.

Я иду следом за Адамом и Ким, которых ведут к лифтам, и запрыгиваю с ними. Ким выглядит ошеломленной и заторможенной, как будто кто-то нажал ей кнопку перезагрузки и теперь она медленно приходит в себя. Губы Адама сжаты в тонкую линию. То ли он собирается заплакать, то ли кинуться на охранника с кулаками. Для его блага, я надеюсь, что первое. Для себя — что второе.

Внизу охранники подталкивают Ким и Адама к коридору, по сторонам которого тянутся темные кабинеты. Они уже собираются войти в одну из немногих освещенных комнат, и тут я слышу, как кто-то громко зовет:

— Адам! Стой. Это ты?

— Уиллоу? — кричит Адам.

— Уиллоу? — бормочет Ким.

— Простите, куда вы их ведете? — кричит Уиллоу охранникам, бегом направляясь к ним.

— Извините, но этих двоих поймали, когда они пытались вломиться в палату интенсивной терапии, — объясняет один охранник.

— Только потому, что они нас не впускали, — вяло поясняет Ким.

Уиллоу догоняет их. На ней все еще форма медсестры, и это странно: обычно она снимает то, что называет «высокой модой для ортопедии», как можно скорее. Ее длинные темно-рыжие кудри выглядят неопрятными и сальными, как будто она забывала их мыть последние несколько недель, а щеки, обычно розовые, как яблочки, теперь бледны.

— Извините. Я дипломированная медсестра из Сидар-Крик. Я здесь стажировалась, так что, если хотите, мы можем пойти прямо к Ричарду Карутерсу.

— Это кто? — спрашивает один охранник.

— Директор по связям с общественностью, — поясняет другой, потом поворачивается к Уиллоу. — Его нет, его рабочий день давно закончился.

— У меня есть его домашний телефон, — говорит Уиллоу, размахивая своим сотовым, словно оружием. — Сомневаюсь, что он будет доволен, если я позвоню ему и расскажу, как в его больнице обращаются с человеком, который пытается навестить свою тяжело раненную девушку. Вы знаете, что директор ценит сострадание так же высоко, как и эффективность, и что так не стоит поступать с влюбленными.

— Мы просто выполняем свою работу, мэм. Нам велели.

— Как насчет того, что я спасу вас двоих от нагоняя и уведу их? Семья пациентки вся собралась наверху. Они ждут, что эти двое к ним присоединятся. А если у вас возникнут проблемы, попросите мистера Карутерса связаться со мной. — Она вытаскивает из сумочки визитку и протягивает охранникам. Один из них смотрит на карточку, потом передает другому, который тоже разглядывает ее и пожимает плечами.

— Заодно и от бумажной работы избавимся, — говорит он и отпускает Адама, чье тело обмякает, будто пугало, снятое со столба. — Прости, парень, — говорит он Адаму, отряхивая его плечи.

— Надеюсь, с твоей девушкой все будет в порядке, — мямлит второй, и они исчезают в направлении каких-то светящихся автоматов.

Ким, до этого видевшая Уиллоу всего дважды, бросается ей на шею.

— Спасибо, — бормочет она в плечо Уиллоу.

Та обнимает ее в ответ и гладит по плечам, прежде чем отпустить. Потом вытирает глаза и выдает ломкий нервный смешок.

— О чем, блин, вы только думали?

— Я хочу видеть Мию, — говорит Адам.

Уиллоу поворачивается к нему и вдруг съеживается, как будто кто-то открыл внутри ее клапан, выпустив весь воздух. Она протягивает руку и касается щеки Адама.

— Конечно, ты хочешь. — Она вытирает глаза тыльной стороной ладони.

— С вами все в порядке? — спрашивает Ким.

Уиллоу игнорирует вопрос.

— Пойдем посмотрим, как можно провести тебя к Мие.

При этих словах Адам оживает.

— Думаете, у вас получится? У той старой медсестры на меня зуб.

— Если эта старая медсестра — та, о ком я думаю, то не имеет значения, есть ли у нее на тебя зуб. Это не ее дело. Давайте пойдем к родственникам Мии, а потом я выясню, кто здесь отвечает за нарушения правил, и проведу тебя к твоей девушке. Ты ей нужен сейчас. Больше чем когда-либо.

Адам кружится на месте и обнимает Уиллоу с такой силой, что ее ноги отрываются от земли.

Уиллоу всегда приходит на помощь. Точно так же она спасла Генри, папиного лучшего друга из его группы, который раньше был безнадежным пьяницей и гулякой. Когда они с Уиллоу встречались уже несколько недель, она велела ему завязать и привести себя в порядок — или до свидания. Папа утверждал, что куча девиц предъявляли Генри ультиматумы, пытаясь заставить его остепениться, и все они остались рыдать на обочине. Но когда Уиллоу упаковала свою зубную щетку и посоветовала Генри повзрослеть, рыдал уже Генри. Потом он осушил слезы, повзрослел и стал трезвым и моногамным. И вот прошло уже восемь лет, у них есть ребенок. Уиллоу в этом плане просто волшебница. Возможно, поэтому, после того как они с Генри сошлись, она стала маминой лучшей подругой — она такая же жесткая, как гвоздь, мягкая, как котенок, феминистская стерва. И возможно, поэтому она была одной из любимых папы, хотя ненавидела «Рамонз» и считала бейсбол тоской зеленой, в то время как папа жил ради «Рамонз» и почитал бейсбол религиозным орденом.

Теперь Уиллоу здесь. Уиллоу медсестра. Уиллоу, которая не считает «нет» ответом — здесь. Она проведет Адама ко мне. Она позаботится обо всем.

«Ура! — хочу я прокричать. — Уиллоу здесь!»

Я так бурно радуюсь ее приезду, что только через несколько минут

понимаю, почему она здесь. А когда понимаю, меня будто электрическим разрядом поражает.

Уиллоу здесь. Если она в моей больнице, значит, у нее больше нет никаких причин оставаться в своей. Я знаю ее достаточно хорошо и понимаю, что она никогда не оставила бы Тедди там. Пусть даже я здесь — Уиллоу осталась бы с ним. Он был ранен и привезен к ней на лечение. Он был ее пациентом, ее главной заботой.

Я думаю о том, что и бабушка с дедушкой в Портленде, со мной. И все в комнате ожидания говорят обо мне, никто из них не упоминает папу, маму или Тедди. Я думаю о лице Уиллоу — с него словно стерли всю радость — и о том, что она сказала Адаму, будто теперь он нужен мне больше, чем когда-либо.

Вот так я и понимаю: Тедди тоже умер.

* * *

Схватки у мамы начались за три дня до Рождества, и она настояла, чтобы мы пошли за подарками к празднику вместе.

— Разве тебе не надо лежать, или ехать в родильный центр, или что-нибудь еще в этом духе? — спросила я.

Мама скорчила рожу сквозь спазм.

— Не-а. Схватки еще не настолько сильны и пока идут только через каждые двадцать минут. Когда у меня начались схватки с тобой, я вычистила весь наш дом, сверху донизу.

— Схватилась со схватками, — пошутила я.

— Ты нахалка, ты это знаешь? — сообщила мама. Она сделала несколько вдохов-выдохов. — Еще не скоро. Пойдем же, доедем до торгового центра на автобусе. Я сейчас не расположена садиться за руль.

— Может, стоит позвать папу? — спросила я.

Мама рассмеялась.

— Мне вполне хватит этого ребенка, не хватает еще только с ним возиться. Мы позвоним ему, когда я буду готова рожать. Лучше уж со мной будешь ты.

Так что мы с мамой бродили по торговому центру, останавливаясь каждые две минуты, чтобы она могла присесть, перевести дух и стиснуть мое запястье так крепко, что оставались яркие красные следы. И все же это было странно веселое и плодотворное утро. Мы купили подарки для

бабушки с дедушкой (свитер с ангелом и новую книгу об Аврааме Линкольне), и игрушки для ребенка, и новые резиновые сапоги для меня. Обычно мы ждали праздничных распродаж, чтобы покупать такие вещи, но мама сказала, что в этом году мы будем слишком заняты беготней с подгузниками.

— Сейчас не время быть прижимистыми. Ох! Вот черт! Извини, Мия. Пойдем съедим по пирожку.

Мы пошли в кафе. Мама взяла себе ломтик тыквы с банановым кремом. Я выбрала чернику. Когда мама доела, она оттолкнула тарелку и объявила, что готова ехать к акушерке.

По правде говоря, мы никогда не обсуждали, буду ли я присутствовать при родах. Я всюду ходила с мамой и папой, так что это как бы подразумевалось. Мы встретились со взвинченным папой в родильном центре, который был совсем не похож на лечебное учреждение. Он располагался на первом этаже какого-то дома и внутри был заставлен кроватями и ваннами «джакузи», медицинское оборудование благоразумно убрали с глаз подальше. Акушерка-хиппи ввела маму внутрь, а папа спросил меня, хочу ли я тоже пойти. К этому моменту я уже слышала, как мама выкрикивает ругательства.

— Я могу позвонить бабушке, и она заберет тебя, — сказал папа, отшатываясь от маминой ширмы. — Это может занять некоторое время.

Я покачала головой: я нужна маме, она так сказала. Потом присела на одну из кушеток в цветочках и взяла журнал с лысым младенцем на обложке, вид у младенца был довольно глупый. Папа убежал в комнатку с кроватью.

— Музыка, черт подери! Музыка! — завопила мама.

— У нас есть прекрасная Эния. Очень успокаивает и расслабляет, — предложила акушерка.

— В жопу Энию! — взвизгнула мама, — «Мелвинз»! «Ерс»! ^[29]Сейчас же!

— Я все взял, — сказал папа и врубил диск с самой громкой, буйной, перегруженной гитарными аккордами музыкой, какую я когда-либо слышала.

По сравнению с ней все быстрые энергичные песни, которые папа слушал обычно, казались воздушными, словно переборы арфы. Эта музыка была первобытной, и от нее мама, кажется, почувствовала себя лучше. Она начала издавать низкое утробное кряхтение. Я просто сидела молча. Иногда она выкрикивала мое имя, и я вбегала к ней. Мама поднимала на меня глаза, по ее лицу градом лил пот.

— Не бойся, — шептала она, — женщины могут вынести самую адскую боль. Когда-нибудь ты это узнаешь. — И снова кричала. — Твою мать!

Я уже два раза видела роды в одной программе по кабельному телевидению, и женщины там обычно некоторое время кричали — иногда ругались, и их заглушали пиканьем, но это никогда не продолжалось дольше получаса. Через три часа мама и «Мелвинз» орали по-прежнему. Во всем родильном центре стояла тропическая влажная духота, хотя на улице было всего около пяти градусов тепла.

Приехал Генри. Войдя и услышав шум, он застыл как вкопанный. Я знала: все, что касалось детей, приводило его в состояние паники. Я подслушала, как мама с папой говорили об этом и о том, что Генри отказывается взрослеть. Он явно испытал шок, когда у мамы с папой появилась я, а теперь был совершенно обескуражен тем, что они решили завести второго ребенка. Мои родители вздохнули с облегчением, когда Генри и Уиллоу снова сошлись.

«Наконец-то в жизни Генри появился взрослый человек», — сказала тогда мама.

Генри посмотрел на меня; его лицо было бледным и мокрым от пота.

— Черт, Ми. Может, тебе не стоит это слышать? Да и мне, пожалуй, тоже.

Я пожала плечами. Генри плюхнулся рядом со мной.

— У меня грипп или что-то в этом роде, но твой папа позвонил и попросил привезти какой-нибудь еды. И вот я здесь. — Он протянул мне воняющий луком пакет из «Тако белл». ^[30]Мама испустила еще один стон. — Мне надо идти. Не хочу распространять заразу и все такое. — Мама закричала громче, и Генри прямо подпрыгнул на месте. — Ты уверена, что хочешь здесь тусоваться? Можешь поехать ко мне. Там Уиллоу, она обо мне заботится. — Он улыбнулся, назвав ее имя. — Она и о тебе тоже может позаботиться.

Он встал, собираясь уходить.

— Не надо. Я в порядке. Я нужна маме. Вот только папа, кажется, не в себе.

— Его уже тошнило? — спросил Генри, усаживаясь обратно на кушетку.

Я рассмеялась, но по его лицу поняла, что он не шутит.

— Его вырвало, когда ты рождалась. Он чуть в обморок не грохнулся, прямо на пол, — и я не могу его винить. Парень был совсем никакой, и врачи хотели вытолкать его взашей... сказали, что так и сделают, если ты

не выйдешь через полчаса. Твоя мама от этого так перепугалась, что освободилась от тебя через пять минут. — Генри улыбнулся, облокачиваясь на кушетку. — Такие дела. Но я тебе вот что скажу: когда ты родилась, он рыдал, как младенец.

— Эту часть я уже слышала.

— Какую часть слышала? — сдавленным голосом спросил папа, забирая пакет у Генри. — «Тако белл», Генри?

— Обед чемпионов, — ответил тот.

— Сойдет. Умираю с голоду. Тут у нас все серьезно. Мне надо поддерживать силы.

Генри подмигнул. Папа вытащил буррито и предложил мне. Я покачала головой. Он начал разворачивать еду, когда мама зарычала и заорала акушерке, что готова тужиться.

Акушерка просунула голову в дверь.

— Похоже, мы уже близко, так что, наверное, вам стоит поесть позже, — сказала она. — Идите обратно.

Генри пулей вылетел из дверей родильного центра. Я пошла вслед за папой в комнату, мама теперь сидела и тяжело дышала, как больная собака.

— Вы хотите посмотреть? — спросила акушерка папу, но он только покачнулся и стал бледно-зеленым.

— Я лучше здесь посижу, — сказал он, хватая маму за руку.

Она яростно отпихнула его.

Меня никто не спросил, хочу ли я посмотреть. Я просто автоматически подошла и встала рядом с акушеркой. Должна признаться, это было довольно отвратительно. Море крови. И я точно раньше никогда не видела свою маму в такой ситуации. Акушерка велела маме тужиться, потом перестать, потом снова тужиться.

«Иди, малютка, иди, малютка, иди, малютка, иди, — распевно тянула она и подбадривала: — Ты уже почти здесь!»

Маме, похоже, очень хотелось ей врезать.

Тедди вышел головой вверх, глядя на потолок, так что я оказалась первой, кого он увидел. Он не вопил, как показывают по телевизору. Он просто лежал и молчал. Его открытые глаза смотрели прямо на меня. Он не сводил с меня взгляда, пока акушерка обтирала и прочищала ему нос.

— Мальчик! — воскликнула она и положила Тедди маме на живот.

— Хотите перерезать пуповину? — спросила она папу.

Папа только отмахнулся: ему было слишком трудно что-либо говорить, его тошнило.

— Я это сделаю, — предложила я.

Акушерка натянула пуповину и показала мне, где резать. Тедди лежал спокойно, широко раскрыв серые глаза и по-прежнему глядя на меня.

Мама всегда говорила, будто именно потому, что Тедди первой увидел меня и я перерезала пуповину, он где-то в глубине души считал своей мамой меня.

— Это как у гусят, — шутила мама. — У них происходит импринтинг на зоолога, а не на маму-гусыню, потому что они его первого увидели, когда вылупились.

Она преувеличивала. На самом деле Тедди не считал меня своей мамой, но некоторые вещи для него могла сделать только я. Когда братишка был совсем маленьким и проходил этап вечерних капризов, он успокаивался, только если я играла ему колыбельную на виолончели. Когда он начал знакомиться с Гарри Поттером, только мне дозволялось читать ему новую главу перед сном. И если он обдирал коленку или ушибался головой, а я была поблизости, он не успокаивался, пока я не закрывала ранку волшебным поцелуем, после которого она должна была чудесным образом исцелиться.

Я понимаю, что все волшебные поцелуи мира, наверное, не смогли бы помочь ему сегодня. Но я бы сделала все, что только возможно, чтобы подарить ему этот поцелуй.

22:40

Я убегаю.

Я оставляю Адама, Ким и Уиллоу в вестибюле и начинаю нарезать круги по больнице. Я не осознаю, что ищу педиатрическое отделение, пока не добираюсь туда. Я бегу по коридорам, мимо палат с капризными четырехлетками, беспокойно спящими перед завтрашней тонзилэктомией; мимо палаты интенсивной терапии для новорожденных, с младенцами размером с кулак, подключенными к еще большему количеству трубок, чем я; мимо педиатрической онкологии, где лысые раковые пациенты спят под жизнерадостными радугами и воздушными шариками, нарисованными на стенах. Я ищу его, пусть даже знаю, что не найду. И все равно мне нужно продолжать искать.

Я представляю его голову, густые светлые кудряшки. Я люблю тыкаться носом в эти кудряшки с тех пор, как братишка был еще младенцем. Я все жду того дня, когда он отпихнет меня и скажет: «Ты меня смущаешь», как говорит папе, когда тот слишком громко болеет за него на детском бейсболе. Но до сих пор этого не случилось, до сих пор у меня был постоянный доступ к его голове. До сих пор. Теперь этого «до сих пор» больше нет. Все кончено.

Я воображаю, как в последний раз зарываюсь носом в его кудри, и даже в воображении не могу не плакать; мои слезы распрямляют светлые завитки.

Тедди никогда не перейдет из детского бейсбола во взрослый. Он никогда не отрастит усы. Никогда не ввяжется в драку, не убьет оленя, не поцелует девушку, не займется сексом, не влюбится и не женится, и не станет отцом собственного кудрявого сына.

Я всего на десять лет старше его, но мне как будто уже досталось куда больше жизни. Это нечестно. Если кто-то из нас двоих должен остаться, если кому-то одному дадут возможность пожить подольше — это должен быть он.

Я мечусь по больнице, словно загнанное дикое животное.

«Тедди! — зову я. — Где ты? Вернись ко мне!»

Но он не вернется. Я знаю, что все бесполезно. Я сдаюсь и плетусь обратно к своей палате. Мне хочется разбить двойные двери, разнести стол медсестер. Я хочу, чтобы все исчезло. Я не хочу оставаться здесь, в больнице. Я не хочу оставаться в этом подвешенном состоянии, где могу

видеть происходящее и осознавать свои ощущения, но не способна по-настоящему их прочувствовать. У меня не получится наораться до хрипоты, или разбить окно кулаком, чтобы из руки потекла кровь, или пучками выдергивать волосы, пока боль в голове не станет сильнее боли в моем сердце.

Сейчас я смотрю на себя, на «живую» Мию, лежащую на больничной кровати, и во мне бушует ярость. Я бы врезала по собственному безжизненному лицу, если бы могла.

Но вместо этого я сажусь на стул и закрываю глаза, желая, чтобы все исчезло. Только не выходит — я не могу сосредоточиться из-за внезапного шума. Мои мониторы пищат и стрекочут, и ко мне бегут две медсестры.

— Давление и кислород в крови падают! — кричит одна.

— Пульс зашкаливает! — вторит другая. — Что случилось?

— Внимание! Срочная реанимация в травме! — ревет громкая связь.

Вскоре к медсестрам присоединяется заспанный врач, под глазами у него темные круги. Он сдергивает простыни и поднимает мою больничную сорочку. Я обнажена ниже пояса, но здесь до этого никому нет дела. Врач кладет руки мне на живот, раздутый и твердый. Его глаза расширяются, затем сужаются в щелочки.

— Живот твердый, — со злостью говорит он. — Нужно делать УЗИ.

Сестра Рамирес бежит в дальнюю комнату и выкатывает нечто похожее на ноутбук с подсоединенной к нему длинной белой штуковиной. Она выдавливает немного геля на мой живот, и врач начинает водить по нему этой штукой.

— Черт. Полно жидкости, — говорит он. — У пациентки была операция сегодня днем?

— Спленэктомия, — отвечает сестра Рамирес.

— Может, сосуд не прижгли, — предполагает врач. — Или медленное просачивание из пробитой кишки. Авария?

— Да. Пациентку привезли сегодня утром.

Врач пролистывает мою карту.

— Хирургом был доктор Соренсен. Он еще на дежурстве. Вызовите его и отвезите ее в операционную. Нужно заглянуть внутрь и посмотреть, что там течет и почему, пока ей не стало хуже. Господи боже, контузии мозга, открытый пневмоторакс. Эта девочка — просто тридцать три несчастья.

Мисс Рамирес бросает на врача злобный взгляд, как будто тот оскорбил меня.

— Мисс Рамирес, — брюзжит ворчливая медсестра из-за стола. — У

вас есть собственные пациенты, о которых надо заботиться. Помогите интубировать девушку и перевезти в операционную. Это ей больше поможет, чем ваше мельтешение!

Медсестры работают быстро: отключают мониторы, отсоединяют катетеры и опять вставляют трубку мне в горло. Вбегают два санитары и перегружают меня на каталку. Я все еще обнажена ниже пояса, когда они поспешно вывозят меня, но не успеваю я доехать до задней двери, как сестра Рамирес кричит: «Подождите!» — и мягко прикрывает мои ноги больничной сорочкой. Она трижды легонько стучит по моему лбу кончиками пальцев, словно это какое-то послание азбукой Морзе. И я уезжаю в лабиринт коридоров, ведущих к операционной. Меня снова будут резать, только на этот раз я не иду за собой. На этот раз я остаюсь в палате интенсивной терапии.

Теперь я начинаю что-то понимать, хотя еще и не все. Вряд ли я скомандовала кровеносному сосуду открыться и начать протекать мне в живот. И вряд ли я хотела еще одного хирургического вмешательства. Но Тедди умер. Мама и папа умерли. Сегодня утром я поехала прокатиться со своей семьей. А теперь я здесь, одинокая как никогда. Мне семнадцать лет. Все должно быть не так. Моя жизнь должна была быть совсем, совсем не такой.

В тихом уголке палаты я начинаю по-настоящему обдумывать горькую правду, которую умудрялась игнорировать весь этот день. Каково мне будет, если я останусь? Каково будет очнуться сиротой? Никогда не почувствовать запах папиной трубки? Никогда не встать рядом с мамой, чтобы тихо разговаривать за мытьем посуды? Никогда не прочитать Тедди новую главу «Гарри Поттера»? Остаться без них?

Я не уверена, что это все еще мой мир. Я не уверена, что хочу приходить в себя.

* * *

Единственный раз в жизни я была на похоронах, и это были похороны человека, которого я едва знала.

Я могла поехать на похороны двоюродной бабушки Гло, когда она умерла от острого панкреатита. Однако в завещании она весьма своеобразно изложила свою последнюю волю. Никакой традиционной службы, никаких похорон на семейном участке кладбища. Вместо этого она

хотела, чтобы ее кремировали, а пепел развеяли в священной индейской церемонии где-то в горах Сьерра-Невада. Бабушку изрядно взбесило и это завещание, и сама тетя Гло — по бабушкиным словам, она всегда старалась привлечь внимание к своей непохожести на других, даже после смерти. В конце концов бабушка решила бойкотировать рассеивание пепла, а раз она не собиралась ехать, то нам, остальным, тем более не было смысла.

Питер Хеллмай, мой друг-тромбонист из музыкального лагеря, умер два года назад, но я узнала об этом, только когда вернулась в лагерь и не нашла его там. Мало кто знал, что у него лимфома. Забавно: в музыкальном лагере ты очень сильно сближался с людьми за лето, но по какому-то неписаному правилу никто не поддерживал связь в остальное время. Мы были летними друзьями. Конечно, у нас в лагере устроили мемориальный концерт в честь Питера, но это не были настоящие похороны.

Керри Гиффорд был музыкантом из нашего городка, одним из родительских приятелей. В отличие от папы и Генри, которые, став старше и обзаведясь семьями, начали меньше играть и больше слушать, Керри оставался одиночкой, верным своей первой любви: музицированию. Он играл в трех группах и зарабатывал на жизнь, отстраивая звук в местном клубе. Идеальный расклад: ведь каждую неделю там играла хотя бы одна из его команд — так что во время своего выступления ему нужно было только выскочить на сцену и поручить кому-нибудь последить за пультом, хотя частенько случалось, что он соскакивал со сцены в перерыве между песнями, чтобы самому подкрутить мониторы. Я знала Керри с раннего детства и ходила на его концерты с родителями, а потом как бы познакомилась заново, когда мы стали встречаться с Адамом, и снова начала приходить его слушать.

Однажды вечером он был на работе — настраивал звук для портлендской группы «Клод» — и просто повалился грудью на пульт. К приезду «скорой» он уже был мертв. Дурацкая аневризма мозга.

Смерть Керри всколыхнула весь наш город. Он был здесь своего рода постоянной величиной: яркая личность, искренний, открытый, энергичный парень, всеобщий любимчик с копной белобрысых дредов. И он был молод, всего тридцать два. Все наши знакомые собирались на его похороны, которые проводились в его родном горном городке, в двух часах езды. Мама с папой, конечно, ехали, и Адам тоже. Так что, хотя я чувствовала себя самозванкой, без спросу влезавшей в чужой смертный день, я решила тоже поехать. Тедди остался с бабушкой и дедушкой.

В родной город Керри отправился целый караван машин. Мы четверо втиснулись к Генри и Уиллоу, у которой был такой срок беременности, что

на ее животе не застегивался ремень безопасности. Все по очереди рассказывали смешные истории об усопшем. Про то, как Керри, известный левый радикал, решил протестовать против войны в Ираке. Он собрал группу парней, и все они, вырядившись в женские платья, отправились на местный вербовочный пункт, чтобы записаться в армию. Или про то, как Керри, брюзгу атеиста, бесил тот факт, что Рождество превратилось в источник наживы, и потому он ежегодно проводил Веселый антирождественский праздник у себя в клубе и устраивал конкурс на исполнение самых извращенных версий рождественских гимнов. Затем он предлагал всем сбросить их дрянные подарки в большую кучу посреди клуба. Но вопреки местному обычаю Керри не сжигал их на костре — папа рассказал, что он отвозил все это в благотворительную организацию имени Святого Венсана де Поля в качестве пожертвования.

Пока все говорили о Керри, атмосфера в машине была легкой и веселой, как будто мы ехали в цирк, а не на похороны. Но это казалось правильным, в самый раз для Керри, в котором всегда бурлила неистовая энергия.

Однако сами похороны получились совсем иными. Церемония была ужасно тоскливой — и не потому, что хоронили человека, трагически умершего молодым из-за какой-то артериальной ерунды. Прощание проходило в огромной церкви, что казалось странным, ведь Керри был убежденным атеистом, но это я еще могла понять. В общем-то, где же еще устраивать прощание? Меня больше удивила сама служба. Пастор, очевидно, никогда даже не встречался с Керри, потому что в своей речи произносил одни только общие фразы — о добром сердце усопшего и о том, что, несмотря на его печальный уход, он получает сейчас свою «небесную награду».

Никто не дал слова ни друзьям-музыкантам покойного, ни жителям города, где Керри провел последние пятнадцать лет. Вместо этого встал какой-то дядя из Бойсе ^[31] и начал рассказывать, как учил шестилетнего Керри ездить на велосипеде, как будто овладение велосипедом стало решающим моментом в жизни его племянника. Закончил он уверениями, что Керри сейчас шествует с Иисусом. Я заметила, как моя мама налилась краской при этих словах, и немного забеспокоилась, как бы она чего не сказала. Мы иногда ходили в церковь, так что мама вроде бы не имела ничего против религии. Зато имел Керри, причем по полной программе, а мама яростно защищала людей, которых любила, и оскорбления в их адрес принимала близко к сердцу. Друзья иногда называли ее за это «Мать-медведица». У мамы уже практически шел пар из ушей к тому времени, как

служба окончилась тошнотворным переложением песни Бетт Мидлер «Wind Beneath My Wings».

— Хорошо, что Керри умер, потому что эти похороны его уж точно доби́ли бы, — высказался Генри. После церковной службы мы решили пропустить официальный обед и отправились в недорогой ресторанчик.

— «Wind Beneath My Wings»? — удивился Адам, рассеянно взяв мою руку и дуя на нее. Он часто так делал, чтобы согреть мои вечно холодные пальцы. — А почему не «Amazing Grace»? Она все-таки традиционная...

— Но не вызывает тошноту, — перебил Генри. — А лучше бы сыграли «Three Little Birds» Боба Марли. Вот это было бы более достойно Керри и показало бы, каким парнем он был.

— Эти похороны вовсе не восхваляли жизнь Керри, — прорычала мама, дергая свой шарф. — Они отвергали ее. Как будто убивали его снова.

Папа мягко положил руку на мамин сжатый кулак.

— Ну, успокойся. Это была всего лишь песня.

— Это была не всего лишь песня, — возразила мама, отдергивая руку, — а то, что она олицетворяла: весь этот фарс. Ты-то должен это понимать.

Папа пожал плечами и печально улыбнулся.

— Может, и должен. Но я не могу злиться на его родных. Думаю, эти похороны были их попыткой вернуть сына.

— Не надо, — сказала мама, качая головой. — Если они хотели вернуть сына, почему им было не уважить жизнь, которую он выбрал? Почему они никогда не приезжали его навестить? Не поддерживали его музыку?

— Мы не знаем, что они думали обо всем этом, — ответил папа. — Давай не будем судить слишком резко. Наверное, ужасно тяжело хоронить своего ребенка.

— Поверить не могу, что ты ищешь им оправдание, — возмутилась мама.

— Я и не ищу. Просто думаю, что выбор музыки не может служить основанием для таких выводов.

— А я думаю, сочувствовать и быть размазней — это разные вещи!

Папина гримаса была едва заметна, но этого хватило, чтобы Адам сжал мою руку, а Генри с Уиллоу обменялись взглядами. Генри тогда пришел папе на выручку.

— У него с родителями не так, как у тебя, — сказал он. — То есть твои, конечно, старомодны, но они всегда поддерживали то, что ты делал, и даже в самые сумасбродные годы ты был хорошим сыном и хорошим

отцом. Всегда дома, на воскресном обеде.

Мама заржала, как будто слова Генри подтвердили ее точку зрения. Мы все повернулись к ней, и наши ошарашенные лица, похоже, привели ее в чувство.

— Просто я здорово расстроилась, — сказала она.

Папа, видимо, понял, что других извинений прямо сейчас не дожидается. Он накрыл ее ладонь своей, и на этот раз мама его не оттолкнула.

— Я просто думаю, — неуверенно заговорил он после короткого молчания, — что похороны очень похожи на саму смерть. У тебя могут быть какие-то пожелания, какие-то планы, но в конце концов ты уже ничего не контролируешь.

— Еще чего! — возразил Генри. — Просто надо сообщить о своих пожеланиях правильным людям, — он повернулся к Уиллоу и заговорил в ее огромный живот: — Итак, слушайте, семья. На моих похоронах никому нельзя быть в черном. А музыку я хочу какую-нибудь веселенькую и старомодную. Например, «Мистер Ти Экспириенс». ^[32] — Он поднял глаза на Уиллоу. — Поняли?

— «Мистер Ти Экспириенс». Я позабочусь об этом.

— Спасибо, а чего хочешь ты, дорогая? — спросил ее Генри.

Не медля ни секунды, Уиллоу ответила:

— Поставь «Илз», ^[33] песню «P. S. You Rock My World». И я хочу такую зеленую церемонию, когда хоронят под деревом. Так что сами похороны должны быть на природе. И никаких цветов. То есть тащи мне сколько угодно пионов, пока я жива, но когда умру, лучше отправь от моего имени пожертвование в какую-нибудь хорошую благотворительную организацию вроде «Врачей без границ».

— Вы уже все продумали, — восхитился Адам. — Все медсестры так делают? Уиллоу пожала плечами.

— Если верить Ким, это означает, что ты очень глубокий человек, — сказала я. — Она говорит, мир делится на тех, кто представляет собственные похороны, и тех, кто нет, а умные и художественно одаренные люди естественным образом попадают в первую категорию.

— А ты в какой? — спросил меня Адам.

— Я хочу «Реквием» Моцарта, — сказала я и повернулась к родителям. — Не волнуйтесь, я не самоубийца, ничего такого.

— Ой, да ладно, — сказала мама, помешивая свой кофе. Ее настроение улучшалось на глазах. — Пока я росла, я много фантазировала о своих похоронах. Мой лодырь папаша и приятели, которые плохо со мной

обращались, будут рыдать над моим гробом — естественно, красным, — а играть будет Джеймс Тейлор. [\[34\]](#)

— Дай-ка угадаю, — вмешалась Уиллоу. — «Fire and Rain»?

Мама кивнула, они с Уиллоу рассмеялись, и скоро все за столиком покатывались со смеху, да так, что слезы текли по щекам. А потом мы плакали, даже я, зная Керри не слишком хорошо. Плакали и смеялись, смеялись и плакали.

— А что теперь? — спросил Адам маму, когда мы успокоились. — Все еще приберегаете теплое местечко для мистера Тейлора?

Мама заморгала, как всегда делала, раздумывая о чем-то. Потом повернулась к папе и погладила его по щеке. Они редко проявляли свои чувства на людях.

— В моем идеальном сценарии мы с моим добрым глупым мужем умираем одновременно и быстро, когда нам по девяносто два года. Я не знаю точно как. Может быть, в Африке, на сафари — потому что в будущем мы богаты; а что такого, это же моя фантазия. Так вот, нас подкашивает какая-нибудь экзотическая болезнь, и однажды вечером мы засыпаем, прекрасно себя чувствуя, но уже не просыпаемся. И никакого Джеймса Тейлора. На наших похоронах будет играть Мия. Если, конечно, удастся вытащить ее из нью-йоркской филармонии.

Папа ошибся. Да, нельзя контролировать собственные похороны, но иногда можно выбирать смерть. И я невольно признаю, что часть маминого желания и вправду сбылась: она ушла вместе с папой. Но я не буду играть на ее похоронах. Возможно, ее похороны также будут и моими. В этом есть что-то умиротворяющее: уйти всей семьей, никого не оставить. Однако меня не покидает мысль, что мама не обрадовалась бы такому исходу. По правде говоря, Мать-медведица пришла бы в дикую ярость от того, как сегодня разворачиваются события.

02:48

Я вернулась туда, где все началось: в палату интенсивной терапии. Точнее, мое тело. Я-то все время сидела здесь, слишком уставшая, чтобы двигаться. Мне очень хотелось бы заснуть. А еще лучше — чтобы нашелся какой-нибудь наркоз или другое средство, отгородившее меня от этого мира. Я хочу стать такой же, как мое тело, тихой и безжизненной, послушной куклой в чьих-то руках. У меня нет сил решать. Я больше не хочу всего этого. Я говорю вслух: «Я этого не хочу». Потом оглядываю палату и понимаю всю нелепость своих слов. Неужели кто-нибудь из этих изувеченных людей в восторге от пребывания здесь?

Мое тело отсутствовало в палате не так уж долго: два часа операции плюс некоторое время в послеоперационной. Я не знаю точно, что со мной было, и впервые сегодня меня это абсолютно не волнует. И не обязано волновать. Мне не должно быть так тяжело. Теперь я понимаю: умирать легко. Жить трудно.

Меня опять подключили к аппарату искусственного дыхания, и на моих глазах новая лента пластыря. Я никак не могу понять зачем. Неужели врачи опасаются, что я очнусь посреди операции и приду в ужас от скальпелей и крови? Как будто такие вещи могут расстроить меня теперь. К моей кровати подходят две медсестры — приписанная ко мне и сестра Рамирес. Они проверяют все мониторы. Нескончаемым рефреном звучат в их устах показатели, уже знакомые мне, как собственное имя: артериальное давление, кислород в крови, частота дыхательных движений. Сестра Рамирес теперь совершенно не похожа на ту женщину, которая вошла сюда вчера днем. Макияж весь стерся, волосы опали. Ее смена, должно быть, скоро закончится. Я буду скучать по ней, но хорошо, что она сможет уйти подальше от меня и этого места. Я бы тоже хотела уйти. Думаю, я и уйду. Наверняка это только вопрос времени — нужно понять, как отпустить саму себя.

Я и пятнадцати минут не провела в своей кровати, когда в дверях возникает Уиллоу. Она решительно входит в палату и направляется к медсестре за столом. Я не слышу ее слов, только тон: вежливый, мягкий, но не допускающий вопросов и сомнений. Когда через несколько минут она уходит, в атмосфере что-то меняется. Теперь за меня отвечает Уиллоу. Ворчливая медсестра сначала возмущается: мол, да кто она такая, чтобы указывать мне, что делать? — но потом подчиняется и покорно поднимает

руки. Ночь была безумно тяжелая. Смена почти закончилась. Зачем же беспокоиться? Скоро я и все мои шумные наглые посетители перестанут быть ее проблемой.

Через пять минут Уиллоу возвращается, с ней бабушка и дедушка. Уиллоу проработала весь день и провела здесь всю ночь. Я знаю, она и так редко высыпается. Помню, мне приходилось слышать, как мама давала ей советы, что нужно сделать, чтобы ребенок не просыпался до утра.

Не знаю, кто выглядит хуже — я или дедушка. Его щеки приобрели землистый оттенок, кожа кажется серой и сухой, как пергамент. А вот бабушка ничуть не изменилась. По ее лицу невозможно сказать, что она плакала и провела бессонную ночь. Усталость словно боится коснуться ее. Бабушка спешит напрямиком к моей кровати.

— Ну и натерпелись мы с тобой страху сегодня, — беззаботно щебечет она. — Будто на русских горках прокатились. Твоя мама всегда удивлялась — мол, какой спокойный ребенок растет, а я ей отвечала: «Вот подожди, пока она в подростковый возраст войдет». Но я ошибалась — даже и тогда с тобой было легко. Никогда ты не причиняла нам хлопот. Никогда мое сердце не болело от страха за тебя. Но уж сегодня ты за всю жизнь отыгралась.

— Ну, ну, — говорит дедушка, кладя руку бабушке на плечо.

— Ой, да я же шучу. Мие бы понравилось. Хотя иногда она и кажется чересчур серьезной, у нее есть чувство юмора. Причем превосходное.

Бабушка придвигает стул к моей кровати и начинает пальцами расчесывать мне волосы. Кто-то их промыл, так что теперь они хоть и не совсем чистые, но уже не слипшиися от крови. Бабушка распутывает мою челку, сейчас она длиной до подбородка. Я все время то отращиваю челку, то стригу ее. Это чуть ли не самое радикальное изменение внешности, какое я себе позволяю. Бабушка продолжает свою работу, вытаскивая волосы из-под подушки, так что они ложатся мне на грудь, скрывая часть проводов и трубочек, подсоединенных ко мне.

— Вот так-то лучше, — говорит бабушка. — Знаешь, вышла я сегодня прогуляться, и в жизни не угадаешь, что увидела. Клеста. В Портленде, в феврале. Вот уж это необычно. Я думаю, это Гло. Сестрица всегда питала к тебе слабость. Говорила, ты напоминаешь ей твоего отца, а его она обожала. Когда он сделал себе первый безумный ирокез, Гло ему чуть ли не вечеринку закатила. Ей нравилось, что он бунтарь, что он так не похож на всех. И она знать не знала, что твой папа ее терпеть не мог. Гло как-то приехала нас навестить, когда твоему папе было лет пять-шесть, и приволокла с собой свою древнюю норковую шубу. Это было еще до того,

как она занялась защитой прав животных, хрустальными безделушками и всем таким. Шуба ужасно воняла шариками от моли, словно старые простыни, которые мы держали в сундуке на антресолях; и твой папа стал называть ее «Тетя из сундука». Она-то никогда об этом не узнала. Но ей нравилось, что он бунтует против нас — так Гло думала, она решила, что и ты тоже бунтуешь, раз занялась классической музыкой. И как я ни старалась переубедить ее, она и слушать не хотела. У нее были собственные представления обо всем — наверное, как и у всех нас.

Бабушка продолжает щебетать еще минут пять, вводя меня в курс последних семейных новостей. Хедер решила стать библиотекарем. Мой двоюродный брат Мэтью купил мотоцикл, и тетя Патрисия этому не рада. Я вспоминаю, как бабушка могла часами без умолку выдавать подобные тирады, когда готовила обед или пересаживала орхидеи. И, слушая ее родной голос сейчас, я почти вижу ее в оранжерее, где даже зимой воздух всегда теплый и влажный, а запахи землистые и гниловатые, как почва с легким оттенком перегноя. Бабушка собирает навоз — «коровьи пирожки», как она их называет — и смешивает его с соломой, делая собственное удобрение. Дедушка полагает, что ей следует запатентовать рецепт и продавать его, потому что она удобряет своим изобретением орхидеи и те всегда побеждают на выставках.

Я пытаюсь медитировать под звук бабушкиного голоса, чтобы меня унесло потоком ее веселой болтовни. Иногда я почти засыпаю под этот аккомпанемент, сидя на высоком стуле за стойкой у нее на кухне, — интересно, получится ли сегодня. Я была бы так рада уснуть. Теплое одеяло черноты, стирающее все остальное. Сон без сновидений. Я не слышала выражение «мертвый сон». Не такой ли будет смерть? Прекраснейшая, теплейшая, глубочайшая, нескончаемая дрема? Если это так, то я не против. Если умирание похоже на засыпание, я совсем не буду против.

Я вздрагиваю — страх вмиг рушит зыбкий покой, навеянный бабушкиным щебетанием. Я еще не во всем разобралась, но знаю одно: когда я твердо решу уйти, я уйду. Но пока я не готова. Не знаю почему, но не готова. И мне немного страшно даже случайно подумать: «Я не против заснуть навечно». Когда-то в детстве бабушка с дедушкой сказали мне: если скорчить рожу, когда часы бьют полдень, останешься таким навсегда. А что, если и теперь уже ничего нельзя будет исправить?

Неужели каждому умирающему человеку приходится решать, остаться или уйти? Как-то сомнительно. В конце концов, в этой больнице полно людей, которых подвергают ужасным операциям, закачивают им в вены

ядовитые химикаты — и все для того, чтобы они смогли остаться, но некоторые из них все равно умрут.

Выбирали ли мама и папа? Вряд ли у них было время на такое важное решение, и я не могу себе представить, чтобы они выбрали уйти и бросить меня. А как же Тедди? Хотел ли он уйти с мамой и папой? Знал ли он, что я все еще здесь? Даже если знал, я бы не стала винить его, что он решил уйти без меня. Он маленький. Наверное, ему было страшно. Я внезапно представляю его одиноким, перепуганным — и впервые в жизни надеюсь, что бабушкины ангелы существуют. Я молюсь, чтобы все они занялись утешением Тедди и не беспокоились обо мне.

Почему кто-то другой не может решить за меня? Почему мне нельзя поручить это кому-нибудь, выдать доверенность на смерть? Или поступить так, как в бейсбольных командах, когда игра уже близка к финалу и нужен мощный отбивающий, чтобы вернуть игроков «домой»? Не могу ли я провести замену подающего, чтобы он вернул меня домой?

Бабушка ушла. Уиллоу ушла. В палате тихо и покойно. Я закрываю глаза. Когда я снова их открываю, рядом со мной стоит дедушка. Он плачет. Он не издает ни звука, но слезы текут водопадом, заливая все его лицо. Я никогда не видела, чтобы человек так плакал: молча, но бурно, словно в его глазах сам собою открылся кран. Слезы падают на одеяло, на мои только что расчесанные волосы: «Кап. Кап. Кап».

Дедушка не вытирает лицо и не прочищает нос. Он просто позволяет слезам литься, как им угодно. И когда источник горя на секунду пересыхает, он делает шаг вперед и целует меня в лоб. Кажется, он собирается уйти, но потом подходит еще ближе к кровати, наклоняет лицо на уровень моего уха и шепчет:

— Ничего, если ты хочешь уйти. Все хотят, чтобы ты осталась. Я хочу, чтобы ты осталась. Никогда в жизни я ничего так не хотел. — Его голос срывается. Дедушка умолкает, откашливается, делает глубокий вдох и продолжает: — Но этого хочу я, и я понимаю, почему ты можешь захотеть иного. Так вот, я просто скажу тебе, что пойму, если ты уйдешь. Это ничего, если тебе нужно покинуть нас. Ничего, если ты захочешь перестать бороться.

Впервые с тех пор, как я поняла, что Тедди тоже умер, я ощущаю, как что-то разжалось во мне. Я чувствую, что дышу. Знаю, дедушка не может быть той заменой подающего, на которую я надеялась. Он не станет отключать мою дыхательную трубку, давать мне смертельную дозу морфия или делать что-нибудь еще в этом роде. Но сейчас, первый раз за день, кто-то признал, что я очень многое потеряла. Я помню, соцработница

предупреждала бабушку и дедушку, чтобы они не огорчали меня, но дедушкино признание и разрешение, которое он только что мне дал, для меня как подарок.

Дедушка не уходит от меня. Он опускается обратно на стул. Становится тихо — так тихо, что почти слышны сны других людей. Так тихо, что почти слышно, как я говорю дедушке: «Спасибо».

* * *

Когда мама забеременела Тедди, папа все еще барабанил в той же команде, в какой играл с университета. Они выпустили пару альбомов; каждое лето ездили в турне. Группа не стала широко известной, но у них были поклонники на Северо-Западе и в разных университетских городках отсюда до Чикаго. И даже, как ни странно, обнаружилась куча фанатов в Японии. Группа все время получала письма от японских подростков, умоляющих приехать и предлагающих свои дома в качестве места для проживания. Папа всегда говорил, что если бы они поехали, то он бы непременно взял нас. Мы с мамой даже выучили несколько слов на японском, просто на всякий случай: «конничива», «аригато». Однако это дело так и не выгорело.

После того как мама объявила о своей беременности, первым знаком грядущих перемен стало получение папой ученических прав — в возрасте тридцати трех лет. Он попытался пристроить маму учить его водить машину, но она, по его словам, оказалась слишком нетерпелива. Мама же утверждала, что папа слишком резко реагирует на критику. Так что дедушка гонял папу на своем пикапе по пустым проселкам, как поступал и с остальными своими детьми — только они все научились водить в шестнадцать.

Затем последовала смена гардероба, правда, этого никто из нас сразу не заметил. Папа не в одночасье перелез из узких черных джинсов и фирменных футболок группы в костюмы. Все происходило более тонко и постепенно. Сначала футболки сменились застегнутыми на все пуговицы трикотажными рубашками из пятидесятых: папа откапывал их на благотворительных распродажах, пока они не вошли в моду и ему не пришлось покупать их в магазинах винтажной одежды. Затем в помойку отправились джинсы — кроме одних, безупречных темно-синих «левойсов», их папа отглаживал и надевал по выходным. В остальные дни

он носил элегантные брюки с отворотами. Но когда через несколько недель после рождения Тедди папа отдал свою кожаную куртку — любимую, изрядно поношенную мотоциклетную куртку с пушистым леопардовым поясом, мы наконец осознали, что идет куда более значительная трансформация.

— Чувак, ты же это не всерьез, — поразился Генри, когда папа вручил ему куртку. — Ты же носил ее, когда еще мальчишкой был. Она даже пахнет тобой.

Папа пожал плечами, закончив беседу, и пошел взять на руки Тедди, вопившего в своей кровати.

Через несколько месяцев папа объявил, что уходит из группы. Мама убеждала его не делать этого только ради нее. Сказала, что он вполне может продолжать играть, если не собирается уезжать с концертами на месяц и оставлять ее одну с двумя детьми. Папа ответил, что на этот счет можно не волноваться: он уходит не ради нее.

Все музыканты из группы приняли его решение как должное, один Генри был безутешен. Он пытался отговорить папу. Обещал, что они будут играть только в городе: не придется ездить, уходить на всю ночь.

«Мы можем даже начать выступать в костюмах. Будем как «Рэт пэк».
[35] Будем делать каверы Синатры. Соглашайся, чувак», — убеждал Генри.

Когда папа отказался менять свое решение, они с Генри крупно поссорились. Генри был в ярости на папу за самовольный уход из группы, тем более если на этом не настаивала мама. Папа отвечал другу, что ему очень жаль, но решение принято. К этому времени он уже подал заявление в магистратуру. Теперь он собирался стать учителем — больше никакой траты времени впустую.

— Когда-нибудь ты поймешь, — сказал папа Генри.

— Хрена с два я пойму, — отгрызнулся тот.

После этого Генри не разговаривал с папой несколько месяцев. Уиллоу то и дело заглядывала к нам, чтобы выступить в роли миротворца. Она объясняла папе, что Генри просто решает, что ему важнее. «Дай ему время», — говорила она, и папа притворялся, что ничуть не обижается. Потом Уиллоу с мамой пили кофе на кухне и обменивались понимающими улыбками, будто говорившими: «Мужики такие мальчишки».

В конце концов Генри снова объявился на горизонте. Но он не извинился перед папой — по крайней мере, сразу. Несколько лет спустя, вскоре после рождения дочери, Генри однажды вечером приехал к нам в слезах.

«Теперь я понял», — сказал он папе.

Довольно странно, но другим человеком, которого преобразование папы огорчило так же, как и Генри, был дедушка. Казалось бы, ему-то новый папа должен был понравиться. Они с бабушкой — люди старой закваски и не спешат угнаться за быстрым течением времени. Они не пользуются компьютером, не смотрят кабельное телевидение, никогда не сквернословят. Вообще, в них есть нечто такое, отчего с ними хочется вести себя прилично. Мама, которая материлась как тюремщик, никогда не ругалась при бабушке с дедушкой. Как будто никто не хотел их разочаровывать.

Бабушка пришла в невообразимый восторг от папиного стилистического преобразования.

— Если б я знала, что все это снова войдет в моду, я бы сохранила старые дедушкины костюмы, — посетовала она в один воскресный день, когда мы заехали к ним на обед и папа снял плащ, открыв взорам шерстяные габардиновые брюки и кардиган по моде пятидесятых.

— Это не вошло снова в моду. Сейчас в моде панк, так что я полагаю, это новый способ вашего сына бунтовать, — широко улыбаясь, возразила мама. — Чей папа бунтарь? Твой папа бунтарь? — заворковала она над Тедди. Тот радостно забулькал.

— Ну что ж, он выглядит как настоящий щеголь, — признала бабушка и повернулась к дедушке: — Ты так не думаешь?

Дедушка пожал плечами.

— По мне, так он всегда хорошо выглядит. И все мои дети и внуки тоже. — Но мне показалось, ему больно об этом говорить.

Позже тем днем я вышла с дедушкой, чтобы помочь ему принести дрова. Ему понадобилось расколоть еще несколько поленьев, так что я стала смотреть, как он берет топор, чтобы порубить сухую ольху.

— Дедушка, разве тебе не нравится папина новая одежда? — спросила я.

Дедушка остановился с занесенным топором. Потом мягко опустил его на землю рядом со скамейкой, на которой я сидела.

— Мне очень даже нравится его одежда, Мия, — ответил он.

— Но ты выглядел таким печальным, когда бабушка об этом говорила.

Дедушка покачал головой.

— Все-то ты замечаешь. И это в десять лет.

— Это трудно не заметить. Когда ты печальный, ты и выглядишь печальным.

— Я не печальный. Твой папа, похоже, счастлив, и я думаю, из него получится хороший учитель. Вот повезет детям, которые прочтут

«Великого Гэтсби» с твоим папой. Я только буду скучать по музыке.

— По музыке? Ты же никогда не ходил на папины концерты.

— У меня слабые уши. После войны. Болят от шума.

— Можно надевать наушники. Меня мама заставляет. Те, что вкладываются в уши, просто выпадают.

— Может быть, я попробую. Но я всегда слушал музыку твоего папы. Только на малой громкости. Признаюсь, я не слишком люблю все эти электрогитары — не в моем они вкусе. Но песни-то мне очень нравились, особенно слова. Примерно в твоём возрасте твой папа часто придумывал всякие увлекательные истории. Он садился за маленький стол и записывал их, потом давал бабушке перепечатать, а потом рисовал к ним картинки. Просто смешные истории про зверюшек, однако живые и остроумные. Это всегда напоминало мне ту книгу о паучихе и поросенке — как она называлась?

— «Паутинка Шарлотты»? [\[36\]](#)

— Точно, она. Я всегда думал, что твой папа станет писателем, когда вырастет. И в некотором смысле ощущал, что так и получилось. Тексты, которые он пишет для своей музыки — это поэзия. Ты когда-нибудь слушала внимательно, что он там говорит?

Я покачала головой, внезапно устыдившись. Я даже не осознавала, что папа писал тексты для песен. Сам он не пел, и я попросту решила, что те люди, которые стоят перед микрофонами, и на-писали эти слова. Но я же сотни раз видела, как он сидит за кухонным столом с гитарой и блокнотом. Просто я никогда не связывала эти вещи.

Тем вечером, когда мы приехали домой, я поднялась в свою комнату с папиными альбомами и плеером. Я просмотрела вкладыш со списком песен, чтобы узнать, какие песни написал папа, а потом тщательно выписала все тексты. Только увидев их нацарапанными в тетрадке для лабораторных работ, я поняла, что имел в виду дедушка. Папины стихи были не просто зарифмованными текстами. Одну песню, называвшуюся «В ожидании возмездия», я прослушивала и перечитывала, пока не выучила наизусть. Она была на втором альбоме — единственная медленная песня, которую они сделали за все время своего существования. Звучала она почти как кантри, возможно из-за кратковременного увлечения Генри «народным» панком. Я слушала ее так много, что начала напевать вслух, даже не замечая этого.

Что это, не пойму?

Я иду — но к чему, куда?

И если дойду к нему,
Что буду делать тогда?
Пусто там теперь и темно,
Где от глаз твоих таял мрак.
Но так оно
Было слишком давно —
Ночью, вчера.

Ну а это-то что уже?
Что за звук слышу я?
Так со свистом мимо ушей
Проносится жизнь моя.
Оглянусь — за моей спиной
Все меньше, чем жизнь, стократ.
И это со мной
Уже очень давно —
С ночи, вчера.

Я уйду — что ждать?
Миг — и за двери шаг.
Ты, верно, будешь гадать,
Что же пошло не так.
Я не выбираю, но
Я устал от борьбы и драк.
И все решено
Невозможно давно —
Ночью, вчера.

— Что это ты поешь, Мия? — спросил папа, застав меня за серенадой
Тедди: я катала его в коляске по кухне в тщетных попытках усыпить.

— Твою песню, — смущенно ответила я, внезапно ощутив, будто вторглась на какую-то личную папину территорию. Может быть, нехорошо вот так ходить, распевая музыку других людей без их разрешения?

Но папа, похоже, умилился.

— Моя Мия поет «В ожидании возмездия» моему Тедди. Как вам это нравится? — Он наклонился, чтобы взъерошить мне волосы и потрепать Тедди по пухлой щеке. — Что ж, не буду тебе мешать. Продолжай. А я исполню эту партию. — И он перехватил у меня коляску.

Теперь мне было неловко петь перед ним, так что я просто мычала дальше, но потом папа запел сам, и дальше мы тихонько вели мелодию вдвоем, пока Тедди не заснул. Потом папа приложил палец к губам и жестом позвал меня за собой в гостиную.

— Хочешь сыграть в шахматы? — спросил он.

Он все время пытался научить меня играть, но мне казалось, что эта так называемая игра требует слишком много труда.

— Как насчет шашек? — предложила я.

— А давай.

Мы играли молча. Во время папиного хода я украдкой смотрела на него, на застегнутую на все пуговицы рубашку, стараясь вызвать в памяти быстро тающий образ парня с обесцвеченными волосами, в кожаной куртке.

— Пап?

— Хм?

— Можно тебя спросить?

— Всегда.

— Тебе грустно, что ты больше не играешь в группе?

— Не-а, — ответил он.

— Совсем-совсем?

Папины серые глаза встретились с моими.

— С чего это ты вдруг?

— Я говорила с дедушкой.

— А, понятно.

— Да?

Папа кивнул.

— Дедушка думает, что как-то надавил на меня, чтобы изменить мою жизнь.

— И что, это правда?

— Пожалуй, неким косвенным образом — да. Он просто был самим собой и показывал мне, что значит «отец».

— Но ты был хорошим папой, когда играл в группе. Самым лучшим папой. Я бы не хотела, чтобы ты это бросил ради меня. — Мне вдруг сдавило горло. — Сомневаюсь, что и Тедди бы захотел.

Папа улыбнулся и похлопал меня по руке.

— Мия-вот-те-на. Я ничего не бросаю. Тут нет расклада «или-или». Учительство или музыка. Джинсы или костюмы. Музыка всегда будет частью моей жизни.

— Но ты же ушел из группы! Перестал одеваться как панк!

Папа вздохнул.

— Это было нетрудно сделать. Я уже отыграл эту роль. Просто ушло то время. Я даже не раздумывал об этом, что бы там ни представлялось дедушке или Генри. Иногда в жизни выбираешь ты, а иногда выбирают тебя. Ты что-нибудь понимаешь?

Мне пришла на ум виолончель: ведь я порой не понимала, почему меня потянуло к ней, и даже казалось, будто это она выбрала меня. Я кивнула, улыбнулась и вернулась к игре.

— Я в дамках.

Я не перестаю думать об этой песне, «В ожидании возмездия». С тех пор как я ее слушала или даже просто вспоминала о ней, прошли годы, и вот теперь, после ухода бабушки, я снова и снова пою ее про себя. Папа сочинил эту песню давным-давно, но теперь мне кажется, что она написана вчера. Она словно пришла оттуда, где он сейчас. Словно он отправил для меня тайную весточку. Как еще объяснить эти строки: «Я не выбираю, но я устал от борьбы и драк»?

Что же они означают? Может, это какое-то указание? Какой-то намек на то, что выбрали бы для меня родители, если бы могли? Я пробую посмотреть на себя их глазами. Знаю, они хотели бы быть со мной, чтобы все мы в конце концов оказались вместе. Только я понятия не имею, что вообще происходит после смерти. Если мы и так будем вместе, разве так важно, умру я сегодня или лет через семьдесят? Чего бы родители хотели для меня сейчас? Едва задав себе этот вопрос, я вижу мамино гневное лицо. Она бы разозлилась на меня даже за мысль о чем-либо, кроме «остаться». Но папа понимал, что значит устать от борьбы. Наверное, он бы, как и бабушка, понял мои сомнения.

Я пою папину песню, будто в ее строках заключены точные указания, музыкальная карта дороги: куда мне следует идти и как туда попасть.

Я пою и думаю так сосредоточенно, что едва замечаю, как в палату возвращается Уиллоу, едва слышу, как она говорит с ворчливой медсестрой, едва узнаю стальную решимость в ее голосе.

Если бы я заметила все это вовремя, то, может, поняла бы, что Уиллоу пытается протащить ко мне Адама. Если бы я обратила внимание на происходящее рядом со мной, то смогла бы куда-нибудь сбежать, прежде чем Уиллоу, как обычно, добилась успеха.

Я не хочу его видеть сейчас. Ну, то есть, конечно же, хочу — прямо-таки до смерти хочу. Но знаю, что если увижу его, то потеряю те последние остатки душевного мира и покоя, которые мне подарил бабушка, сказав, что я вполне могу захотеть уйти. Я пытаюсь собраться с духом, чтобы сделать то, что нужно, а Адам все усложнит. Я пробую встать, чтобы убраться подальше, но что-то изменилось во мне с тех пор, как меня снова увезли в операционную. У меня больше нет сил двигаться, даже сидение на стуле требует огромного напряжения. Я не могу убежать — могу только спрятаться. Я прижимаю колени к груди и закрываю глаза.

С Уиллоу сейчас разговаривает сестра Рамирес.

— Я пригляжу за ним, — говорит она.

И в этот раз ворчливая медсестра не велит ей вернуться к ее собственным пациентам.

— То, что ты тут устроил, было ужасно глупо, — обращается она к Адаму.

— Я знаю, — отвечает Адам. Его голос звучит придушенно и тихо, таким он становится после особенно громких концертов. — Я был в отчаянии.

— Нет, ты просто романтик, — возражает сестра.

— Я идиот, вот я кто. Говорили, что ей уже лучше, что ее отключили от респиратора. Но после того как я пришел, ей стало хуже. Сказали, ее сердце остановилось на операционном столе... — Адам умолкает.

— И его завели снова. У нее оказалась пробита кишка, оттуда в брюшную полость медленно вытекала желчь, и от этого прочие органы вышли из строя. Такое случается очень часто, и уж от тебя никак не зависело. Мы вовремя все отловили и исправили, и это главное.

— Но ей же становилось лучше, — шепчет Адам. У него сейчас такой же юный и беззащитный голос, как у Тедди, когда тот подхватил желудочный грипп. — А потом я вошел, и она чуть не умерла.

Его голос прерывается всхлипыванием. Этот звук встряхивает меня, будто мне на рубашку опрокинули ведро ледяной воды. Адам думает, что это он виноват? Нет! Такой абсурд уже ни в какие ворота не лезет. Он же все неправильно понял.

— А я чуть не осталась в Пуэрто-Рико и не вышла замуж за старого жирного сукина сына, — рывкает в ответ медсестра. — Но не осталась. И теперь у меня совсем другая жизнь. «Чуть» ничего не значит. Нужно иметь дело с тем, что есть сейчас. А сейчас она снова здесь. — Сестра задергивает разделительную штору вокруг моей кровати и велит Адаму: — Заходи.

Я заставляю себя поднять голову и открыть глаза. Адам. Боже, даже в таком состоянии он красив. Его глаза запали от усталости. На лице отросла щетина — достаточная, чтобы ободрать мне подбородок при поцелуе. На нем обычная концертная одежда — футболка, обтягивающие рваные штаны и «конверсы», с плеч свисает клетчатый дедушкин шарф.

Увидев меня, он резко бледнеет — как будто перед ним какая-нибудь чудовищная тварь из «Черной лагуны». Я выгляжу довольно плохо, снова подключена к респиратору и дюжине других трубочек; сквозь повязки, наложенные в последней операции, проступает кровь. Однако через

секунду Адам громко выдыхает и опять становится самим собой. Он шарит по кровати, словно что-то уронил, и наконец нащупывает то, что искал: мою руку.

— Господи, Мия, у тебя же руки совсем замерзли. — Он опускается на корточки, берет мою правую ладонь в свои, осторожно, чтобы не задеть трубки и провода, наклоняется и дует теплым воздухом в сложенный шалашик. — Ты и твои невозможные руки. — Адам всегда поражается тому, как даже посреди лета, даже после самых жарких объятий мои руки остаются холодными. Я говорю ему, что все дело в плохой циркуляции крови, а он не верит: ведь ноги у меня обычно теплые. Он утверждает, что мне приделали биомеханические руки, поэтому-то я так здорово играю на виолончели.

Я смотрю, как он согревает мою ладонь — точно так же, как тысячу раз до этого. В памяти всплывает, как он сделал это в первый раз: на школьном газоне, как будто это была самая естественная вещь на свете. Я также помню, как он впервые проделал это перед моими родителями. Был канун Рождества, мы все сидели на террасе, попивая сидр. Снаружи подмораживало. Адам сгрел мои ладони и стал дуть на них. Тедди захихикал.

Родители ничего не сказали, только обменялись быстрым взглядом — чем-то личным, только своим, а потом мама понимающе нам улыбнулась.

Интересно, смогла бы я, если бы постаралась, почувствовать его прикосновения? Если бы я легла сверху на ту себя, которая на кровати, стала бы я снова одним целым со своим телом? Почувствовала бы я его тогда? Если бы я коснулась призрачной рукой его руки, ощутил бы он это? Стал бы согревать ладони, которых не видит?

Адам отпускает мою руку, придвигается ближе и смотрит на меня. Он стоит так близко, что я почти чувствую его запах, и меня охватывает непреодолимое желание дотронуться до него. Это что-то глубинное, первобытное и всепоглощающее — как тяга ребенка к материнской груди. И ведь я знаю: если мы коснемся друг друга, начнется новое перетягивание каната — и оно будет еще болезненнее той тихой борьбы, которую мы вели в последние несколько месяцев.

Теперь он что-то бормочет, тихо-тихо. Снова и снова повторяет:

— Пожалуйста. — Наконец Адам замолкает и смотрит мне в лицо: — Пожалуйста, Мия, — умоляет он, — не вынуждай меня писать песню.

Я никогда не предполагала, что так влюблюсь. Никогда, как некоторые

девчонки, я не теряла голову от рок-звезд и не фантазировала, что выйду замуж за Брэда Питта. Я смутно предполагала, что когда-нибудь, наверное, у меня появится парень (в университете, если верить предсказанию Ким) и мне захочется выйти замуж. Не то чтобы я была совершенно невосприимчива к чарам противоположного пола, но розовые грезы любви меня не мучили, как многих романтических восторженных девиц.

Даже когда я уже влюблялась — той самой стремительной, пылкой любовью, когда не можешь стереть с лица глупую улыбку, я не понимала, что происходит. Когда мы с Адамом были вместе (по крайней мере, после тех первых неловких недель), мне становилось так хорошо, что я и не думала размышлять о происходящем со мной — с нами. Все казалось таким же естественным и правильным, как погружение в горячую ванну с пеной. Это не значит, будто мы не ссорились и не боролись друг с другом. Мы спорили по куче поводов: он недостаточно мил с Ким, я жмусь по углам на концертах, он слишком быстро водит, я во сне стаскиваю с него одеяло. Я огорчалась, что он не пишет про меня песни. Адам заявлял, что ему не слишком хорошо удается слюнявая любовная лирика.

«Если хочешь песню, то тебе придется мне изменить или обмануть, в общем, отмочить что-нибудь этакое», — говорил он, прекрасно зная, что такого не случится.

Прошлой осенью мы с Адамом начали другую борьбу. На самом деле это даже не было борьбой: мы не ругались и не орали друг на друга. Мы даже почти не спорили, но в нашу жизнь тихо вползла змейка напряженности. Казалось, все началось с моего прослушивания в Джульярде.

— Ну как, ты сразила их наповал? — спросил меня Адам, когда я вернулась. — Тебя принимают на полную стипендию?

У меня сложилось ощущение, что меня и правда примут даже раньше, чем я рассказала профессору Кристи о замечании одного из членов комиссии насчет давно не виденных «деревенских девочек из Орегона», даже прежде, чем моя учительница чуть не задохнулась от восторга, убежденная, что это завуалированное обещание поступления. Что-то случилось с моей игрой перед той публикой — я пробилась через какой-то невидимый барьер и смогла наконец сыграть пьесы так, как слышала их у себя в голове, и результат получился волшебным: умственные и физические, технические и эмоциональные грани моих способностей наконец сошлись вместе и слились воедино. Потом, по пути домой, когда мы с дедушкой приближались к границе Калифорния — Орегон, у меня внезапно возникло видение: я волоку виолончель по Нью-Йорку. Я как

будто точно узнала будущее, и эта уверенность пустила корни в моей душе, словно теплая сердечная тайна. Поскольку обычно я не склонна к предчувствиям или чрезмерной самоуверенности, я предположила, что мое видение родилось не только из магического мышления.

— Я нормально сыграла, — ответила я Адаму и тут же поняла, что впервые соврала ему в лицо и это уже совсем не те недомолвки, которые я позволяла себе прежде.

Сначала я не собралась с духом сказать Адаму, что подаю заявление в Джульярд, а это оказалось куда труднее, чем могло бы показаться. Прежде чем отправить заявление, мне пришлось каждую свободную минутку заниматься с профессором Кристи, чтобы довести до совершенства концерт Шостаковича и две сюиты Баха. Когда Адам спрашивал, почему я так занята, я намеренно расплывчато говорила, что разучиваю новые сложные пьесы. Я оправдывалась перед собой, что формально это правда. А потом профессор Кристи договорилась для меня о записи в университете, чтобы я смогла представить в Джульярд диск хорошего качества. Мне нужно было прийти в студию в семь утра в воскресенье, поэтому предыдущим вечером я притворилась немного больной и сказала Адаму, что ему, пожалуй, не стоит оставаться на ночь. Это вранье я тоже перед собой оправдала. Я действительно плохо себя чувствовала, потому что страшно нервничала. Так что и это не было настоящей ложью. Кроме того, я полагала, что нет смысла поднимать большой шум вокруг поступления. Ким я тоже ничего не сказала и, значит, не проявила особой нечестности по отношению к Адаму.

Но, ответив ему, что на прослушивании сыграла всего лишь нормально, я ощутила, будто подо мной разверзлись зыбучие пески, будто еще шаг — и мне уже будет не выбраться: я буду тонуть, пока не задохнусь. Так что я набрала побольше воздуха и рванулась на твердую землю.

— На самом деле это неправда, — призналась я Адаму. — Я сыграла по-настоящему здорово. Я играла лучше, чем когда-либо в своей жизни. Прямо как одержимая.

Первой реакцией Адама была улыбка гордости за меня.

— Хотел бы я это увидеть, — сказал он, но потом его глаза затуманились, а губы недовольно сжались. — Зачем тебе понадобилось преуменьшать? — спросил он. — Почему ты не позвонила мне после прослушивания, чтобы похвастаться?

— Не знаю, — ответила я.

— Ну что ж, прекрасные новости, — сказал Адам, стараясь скрыть обиду. — Надо бы отпраздновать.

— Ладно, давай праздновать, — с наигранной веселостью согласилась я. — Можно устроить портлендскую субботу. Побродить по Японским садам, пообедать в «Бо тай».

Адам скорчил гримасу.

— Я не могу. Мы в эти выходные играем в Сиэтле и Олимпии. Мини-гастроли, помнишь? Я бы очень хотел, чтобы ты поехала, но не знаю, будет ли это для тебя таким уж праздником. Но я вернусь в воскресенье днем. Можем встретиться вечером портлендского воскресенья, прямо там, если хочешь.

— Не могу. Я играю в струнном квартете дома у какого-то профессора. А как насчет следующих выходных?

Адам страдальчески поморщился.

— Следующую пару выходных мы сидим в студии, но можно куда-нибудь сходить на неделе. Куда-нибудь поближе. В мексиканский ресторан?

— Отлично. В мексиканский ресторан, — сказала я.

За две минуты до того я даже не собиралась ничего отмечать, но теперь почувствовала себя удрученной и оскорбленной, оттого что праздничный ужин передвинулся на будний вечер, да еще в таком прозаичном месте, куда мы ходили всегда.

Когда Адам прошлой весной окончил школу и съехал от родителей в «Дом рока», я не ожидала каких-то больших перемен: он по-прежнему будет жить недалеко от меня. Мы так же будем все время видеться. Я буду скучать по маленьким беседам в музыкальном крыле, но при этом мне станет легче, потому что наши отношения выйдут из-под школьного микроскопа.

Но все изменилось, когда Адам переехал в «Дом рока» и поступил в университет — хотя и по иным причинам, чем ожидала я. В начале осени, пока Адам только привыкал к университетской жизни, у «Звздопада» дела вдруг пошли в гору. Одна не самая маленькая компания звукозаписи в Сиэтле предложила группе контракт, и теперь они кучу времени проводили в студии. Количество концертов также увеличилось, они играли почти каждые выходные, причем залы с каждым разом становились все больше. Жизнь бурлила настолько, что Адам почти забросил учебу и собрался переходить на заочный. Он даже подумывал совсем уйти из университета, если ничего не изменится.

«Вторых шансов не бывает», — говорил он мне.

Я была искренне рада за него. Я знала, что «Звздопад» — не просто обычная группа из университетского городка. Даже его частым отъездам я не слишком противилась, особенно после того, как он объяснил, насколько

важны они для него. Но мое предполагаемое поступление в Джульярд все изменило. Мне почему-то стало не все равно. Такая перемена была совершенно непонятна, ведь теперь мы стали равны и в моей жизни тоже забрезжили волнующие перспективы.

— Можно поехать в Портленд через пару недель, — предложил Адам. — Когда у всех начнутся каникулы.

— Отлично, — уныло согласилась я.

Адам вздохнул.

— Все усложняется.

— Ага. У нас слишком напряженные графики.

— Я не об этом, — сказал Адам, поворачивая мое лицо так, чтобы я посмотрела ему в глаза.

— Я знаю, что ты не об этом, — ответила я, но потом комок встал у меня в горле, и я больше не могла выдать ни слова.

Мы старались разрядить напряжение, не касались этой темы всерьез, шутили.

— Знаешь, я тут вычитал в газете, что в университете Уилламетта хорошая программа по музыке, — сказал мне Адам. — Это в Салеме, он сейчас становится модным местечком.

— Кто так считает? Губернатор?

— Лиз нашла там какие-то классные шмотки в винтажном магазине. А ты же знаешь, как только появляются подобные места, и хипстеры сразу набегают.

— Ты забываешь, я-то не хипстер, — указала я. — Кстати, почему бы «Звездопаду» не начать двигаться в сторону Нью-Йорка? Это же вроде как сердце панк-сцены — «Рамонз», «Блонди». — Я говорила легким, игривым тоном, достойным «Оскара».

— Это было тридцать лет назад, — возразил Адам. — И даже если я захочу переехать в Нью-Йорк, остальная группа никак не сможет.

Он скорбно уставился на свои ноги, и я поняла, что шуточная часть беседы закончилась. В животе у меня забурчало — легкая закуска перед полной порцией сердечной боли, которая, как я чувствовала, скоро будет подана к столу.

Мы с Адамом были не из тех парочек, которые строят планы на будущее или увлеченно обсуждают развитие своих отношений, но, когда все вдруг так запуталось, мы несколько недель даже не затрагивали болезненную тему, и от этого наши разговоры стали такими же неестественными и неуклюжими, как в те первые недели, пока мы не нашли свою колею. В один осенний день я заметила красивое шелковое

платье тридцатых годов в винтажном магазинчике, где папа покупал себе костюмы. Мне очень хотелось показать платье Адаму и спросить у него, стоит ли покупать его для выпускного. Но выпускной ожидался только в июне, Адам тогда мог уехать на гастроли, или я могла быть слишком занята, готовясь к консерваторским экзаменам — так что я ничего не сказала. Вскоре после этого Адам пожаловался на свою дряхлую гитару и заявил, что хочет добыть коллекционный «Гибсон Эс Джи», а я предложила купить ему такой на день рождения. Но потом он сказал, что эти гитары стоят тысячи долларов, да и день рождения у него теперь только в следующем сентябре — и слово «сентябрь» в его устах прозвучало как судебный приговор к тюремному сроку.

Несколько недель назад мы вместе поехали на новогоднюю вечеринку. Адам напился и, когда наступила полночь, крепко меня поцеловал.

— Обещай мне. Обещай, что следующий Новый год ты проведешь со мной, — прошептал он мне в ухо.

Я собиралась объяснить, что даже если уеду в Джульярд, то вернусь домой на Рождество и Новый год, но потом поняла: он говорит о другом. Поэтому я пообещала ему, ведь мне ничуть не меньше его хотелось, чтобы все получилось именно так. И поцеловала его в ответ так крепко, будто пыталась через губы слить наши тела воедино.

В первое утро нового года я пришла домой и обнаружила, что вся моя семья, а также Генри, Уиллоу и их дочка собрались на кухне. Папа готовил завтрак, свое коронное блюдо — салат из копченого лосося.

Увидев меня, Генри покачал головой.

— Посмотрите-ка на современных детей. Кажется, еще вчера приходиться домой в восемь было рановато. А сейчас я бы жизнь отдал за возможность поспать до восьми.

— Мы даже до полуночи не досидели, — призналась Уиллоу, качая дочку на коленях. — И хорошо, потому что эта маленькая леди решила начать новый год в полшестого.

— А я продержался до полуночи! — завопил Тедди. — Я видел по телевизору, как в двенадцать опустили большой шар. ^[37] Это в Нью-Йорке, знаешь? Если ты туда переедешь, ты возьмешь меня посмотреть, как он опускается по-настоящему?

— Конечно, Тедди, — сказала я, симулируя энтузиазм.

Мой отъезд в Нью-Йорк казался все более и более реальным, и хотя обычно эта идея приводила меня в тревожное, противоречивое возбуждение, тогда я вдруг представила, как мы с Тедди в канун Нового года вдвоем бродим по ночному Нью-Йорку, и мое сердце заныло от

чувства непереносимого одиночества.

Мама, подняв брови, посмотрела на меня.

— Ради Нового года я не стану гнобить тебя за то, что ты пришла в такой час. Но если у тебя похмелье, посажу под арест.

— Нет у меня похмелья. Я выпила одну кружку пива. Просто я устала.

— Точно просто устала? Ты уверена? — Мама схватила меня за запястье и развернула к себе.

Увидев мое печальное лицо, она склонила голову набок. «Что с тобой?» — прочитала я в ее глазах. Я пожала плечами и прикусила губу, чтобы не расплакаться. Мама кивнула, вручила мне чашку кофе и проводила к столу. Потом она поставила передо мной тарелку папиного салата и толстый ломоть ароматного хлеба, и, даже хотя я не ощущала голода, мой рот наполнился слюной, а желудок заурчал, и внезапно мне ужасно захотелось есть. Я молча жевала, а мама не отрываясь смотрела на меня. Когда все покончили с завтраком, мама отослала остальных в гостиную смотреть «Парад роз» [\[38\]](#) по телевизору.

— Все выметайтесь, — сказала она, — а мы с Мией помоем посуду.

Как только все ушли, мама повернулась ко мне, и я просто упала на нее с плачем, выпуская из себя напряжение и неуверенность последних нескольких недель. Она молча обнимала меня, не мешая заливать слезами ее свитер. Когда я выплакалась, она сунула мне губку.

— Ты моешь. Я вытираю. Мы разговариваем. Меня это всегда успокаивает: теплая вода и мыло.

Мама взяла посудное полотенце, и мы приступили к работе. Я рассказала ей о нас с Адамом.

— У нас было полтора идеальных года. Таких идеальных, что я никогда и не думала о будущем. О том, что оно разведет нас в разные стороны.

Мама улыбнулась, понимающе и печально.

— Зато об этом думала я.

Я повернулась к ней. Она смотрела, как за окном парочка воробьев купается в луже.

— Я помню прошлый год, когда Адам пришел к нам на Рождество. Тогда я сказала твоему отцу, что ты влюбилась слишком рано.

— Понятно-понятно. Что глупый ребенок может знать о любви?

Мама перестала вытирать сковородку.

— На самом деле я не это имела в виду, а ровно противоположное. Вы с Адамом никогда не казались мне «школьной парочкой». — Мама изобразила пальцами кавычки. — Это было совсем не похоже на пьяный

перепих на заднем сиденье чужого «шевроле» — такое сходило за отношения, когда я училась в школе. Вы, ребята, выглядели и до сих пор выглядите влюбленными по-настоящему, глубоко. — Она вздохнула. — Но семнадцать лет — неудобный возраст для любви.

Это заставило меня улыбнуться, и под ложечкой слегка отпустило.

— Да ну? — притворно удивилась я. — Вот если бы мы оба не были музыкантами, то могли бы вместе ходить в университет и жить припеваючи.

— Это бегство от действительности, Мия, — возразила мама. — Все отношения трудны. Как в музыке: иногда получается гармония, а иногда какофония. Уж не мне тебе это объяснять.

— Наверно, ты права.

— И кстати, музыка вас двоих и свела — так мы с папой всегда считали. Вы оба были влюблены в музыку, а потом влюбились и друг в друга. У нас с твоим папой получилось почти так же. Только я не играла, а слушала. К счастью, я была чуть постарше, когда мы встретились.

Я никогда не рассказывала маме о том, что Адам ответил в тот вечер после концерта Йо-Йо Ма на мой вопрос — почему я? О том, что без музыки у нас точно не обошлось.

— Ага, но сейчас мне кажется, что именно музыка нас и разведет.

Мама покачала головой.

— Ерунда. Музыка этого сделать не может. Жизнь может повести вас разными путями, но каждому придется выбирать, по какой дороге идти. — Она повернулась ко мне. — Адам ведь не пытается отговорить тебя ехать в Джульярд?

— Не больше, чем я пытаюсь уговорить его переехать в Нью-Йорк. И все это просто смешно. Я даже могу не поступить.

— Можешь. Но куда-нибудь все равно поедешь. Думаю, все мы это понимаем. И то же самое будет у Адама.

— По крайней мере, он может ездить куда-нибудь, а жить здесь.

Мама пожала плечами.

— Возможно. По крайней мере, пока.

Я спрятала лицо в ладонях и покачала головой.

— Что же мне делать? — прорыдала я. — Я чувствую себя так, будто ввязалась в перетягивание каната.

Мама скорчила сочувственную гримасу.

— Я не знаю. Но знаю точно: если ты захочешь остаться и быть с ним, я тебя поддержу, хотя, возможно, я так говорю только потому, что ты вряд ли откажешься от Джульярда. Но я пойму, если ты выберешь любовь — к

Адаму, а не к музыке. Ты в любом случае выиграешь и в любом случае проиграешь. Что я могу тебе сказать? Любовь — жуткая стерва.

Потом мы говорили об этом с Адамом еще один раз. Мы сидели в «Доме рока», на его матрасе. Адам что-то наигрывал на акустической гитаре.

— Я могу не поступить, — сказала я, — могу, в конце концов, остаться в нашем университете. В душе я даже надеюсь, что меня не примут и не придется выбирать.

— Но если тебя примут, то выбор уже сделан? — спросил Адам.

Да, так и было. Я бы уехала. Это не значило, что я разлюбила бы Адама или что мы бы разошлись, но и мама, и он все понимали верно. Я бы не отказалась от Джульярда.

Почти целую минуту Адам молчал, дергая струны гитары так громко, что я едва расслышала его следующие слова.

— Я не хочу влиять на твой выбор. Если бы я был на твоём месте, ты бы меня отпустила.

— В общем-то, я тебя уже отпустила. Ты как бы уже уехал, в свой собственный Джульярд, — сказала я.

— Да, знаю, — тихо ответил Адам. — Но я все-таки здесь. И по-прежнему безумно тебя люблю.

— И я, — призналась я.

Некоторое время мы молчали, Адам наигрывал незнакомую мелодию. Я спросила, что он играет.

— Блюз.

Я назвал его: «Моя-девушка-уезжает-в-Джульярд-и-рвет-в-лохмотья-мое-панковское-сердце», — пропел он преувеличенно гнусавым голосом. Потом улыбнулся той глуповатой застенчивой улыбочкой, которая, по моим ощущениям, рождалась в самых искренних глубинах его сердца: — Шучу.

— Хорошо, — сказала я.

— Типа того, — добавил он.

05:42

Адам ушел. Он выскочил внезапно, крикнув сестре Рамирес, что забыл кое-что очень важное и скоро вернется. Он уже почти выбежал за дверь, когда она сказала ему вдогонку, что ее дежурство заканчивается. И теперь она тоже ушла, но сначала предупредила медсестру, сменившую старую ворчунью, что «молодому человеку в тесных штанах и с вороньим гнездом на голове» можно войти ко мне, когда он вернется.

Не то чтобы это имело значение. Теперь парадом командует Уиллоу. Она водила сюда семейные войска все утро. После бабушки, дедушки и Адама заглянула тетя Кейт. Потом пришли тетя Диана с дядей Греггом. За ними просочились двоюродные братья и сестры. Уиллоу снует туда-сюда, а в ее глазах сверкают искорки. Она что-то понимает, но я не знаю точно, зачем она приводит ко мне родных: как-то повлиять на меня, чтобы я продолжала жить, или просто попрощаться.

Теперь очередь Ким. Бедная Ким, она выглядит так, будто ночевала в мусорном контейнере. Ее волосы устроили настоящий бунт, и в распутившейся косе их осталось куда меньше, чем выбилось на свободу. Ким в одном из своих «навозных свитерков» — так она называет мешковатые хламиды зеленоватых, сероватых и буроватых цветов, которые ей постоянно покупает мать. Сначала Ким щурится на меня, словно на яркий, ослепительный свет. Но потом будто бы привыкает к освещению и решает: пусть я выгляжу как зомби, пусть провода и трубки торчат у меня из всех отверстий, пусть даже мое тонкое одеяло испачкано кровью, просочившейся через повязки, я все та же Мия, а она все та же Ким. А что Мия с Ким больше всего любят делать? Болтать.

Ким устраивается на стуле рядом с моей кроватью и спрашивает:

— Ну, как ты тут?

Не знаю, что ей ответить. Я вымотана до предела, но в то же время приход Адама оставил меня... даже не знаю какой. Возбужденной, что ли. Взволнованной. Проснувшейся, да, совершенно проснувшейся. Хоть я и не смогла ощутить его прикосновение, само его присутствие встряхнуло меня. Однако не успела я как следует обрадоваться его появлению, как он вдруг вылетел из палаты, словно за ним по пятам гнался дьявол. Последние десять часов Адам пытался попасть ко мне и, когда это ему наконец удалось, сбежал через десять минут после прихода. Может, я напугала его. Может, он не захотел иметь со мной дело. Может, я здесь не единственная

трусиха. В конце концов, и я ведь целый день мечтала, чтобы Адам пришел, а когда его пустили, сбежала бы, найдись у меня силы.

— Ты не поверишь, какой сумасшедший был вчера вечер, — говорит Ким и начинает мне обо всем рассказывать. Об истериках своей матери, о том, как она закатила сцену перед моими родственниками, которые были очень снисходительны и милы. О скандале, случившемся у них при входе в «Роузленд театр» ^[39] перед толпой панков и хипстеров. Как Ким заорала на рыдающую мать: «Сейчас же соберись и начни вести себя как взрослая», а потом зашагала в здание, оставив шокированную миссис Шейн на тротуаре, и группа парней в коже и шипах, с волосами кислотных цветов восхищенно хлопала ее по ладони. Она рассказывает об Адаме, о его решимости повидать меня, о том, что, когда его не пустили ко мне в палату, он позвал на помощь своих приятелей-музыкантов, которые оказались вовсе не такими надутыми тусовщиками, как она полагала. Потом Ким сообщает, что ради меня в больницу пришла настоящая рок-звезда.

Конечно, из ее рассказа я вряд ли услышу что-то новое, но она-то об этом не знает. Кроме того, мне нравится ее изложение вчерашних событий. Нравится, что Ким разговаривает со мной как обычно, совсем как бабушка до нее. Она просто болтает, травит уморительные байки, будто мы сидим на нашей террасе, попиваем кофе (в ее случае — ледяной карамельный фрапучино) и сплетничаем.

Не знаю, правда это или нет, что человек после смерти вспоминает все случившееся с ним при жизни. По здравом размышлении, после смерти вообще не должно быть никаких ощущений, как и до рождения, то есть абсолютная пустота, небытие. Однако для меня, например, годы до моего появления на свет не так уж пусты. Родители то и дело рассказывают какие-нибудь истории: папа вспоминает своего первого лосося, которого он поймал, когда рыбачил с дедушкой, маме не дает покоя потрясающий концерт «Дед мун», ^[40] на который они с папой пошли на первом свидании, а у меня случается мощное дежавю. Мне не просто кажется, что я слышала эту историю прежде, — нет, я чувствую, что прожила ее. Я отчетливо вижу, как сижу на берегу, а папа вытаскивает из воды сверкающего розового кижуча, хотя папе в ту пору было всего двенадцать. И я слышу, как фонила аппаратура, когда «Дед мун» заиграли «D. O. A» в «Икс-рей», ^[41] пусть я никогда не видела «Дед мун» на сцене, а «Икс-рей» закрылся еще до моего рождения. Но иногда подобные воспоминания кажутся невероятно реальными, они идут из таких внутренних глубин, что я путаю их с моими собственными.

Я никогда никому не рассказывала об этих своих «воспоминаниях». Мама, наверное, сказала бы, что я там была — в виде яйцеклетки в ее яичниках. Папа пошутил бы: мол, они с мамой так загрузили меня своими историями, что нечаянно зомбировали. А бабушка сказала бы, что я, пожалуй, действительно там была — в виде ангела, еще до того, как выбрала родиться у моих мамы с папой.

Но сейчас мне любопытно. И я очень надеюсь. Потому что там, куда я уйду, хочу вспоминать Ким. Я хочу запомнить ее именно такой: рассказывающей смешные байки, скандалящей со своей сумасшедшей мамашей, одобряемой панками, всегда оказывающейся на высоте и находящей в себе маленькие запасы силы, о которых и не подозревала.

Адам — другое дело. Вспоминать Адама означало бы терять его снова и снова, и я не уверена, что смогу вынести еще и это.

Ким перешла к истории про операцию «Отвлекающий маневр», когда в больницу нагрянула Брук Вега с дюжиной панков всех мастей. Ким рассказывает, что ужасно боялась неминуемых неприятностей, пока они не ворвались в палату, а потом ее вдруг охватило безудержное веселье. Когда охранник схватил ее, было совсем не страшно.

— Я все думала: что может быть еще хуже? Я попаду в тюрьму. У мамы будет истерика. Я сяду на год. — Она на секунду умолкла. — Но после того, что случилось сегодня, это будут сущие пустяки. Даже пойти в тюрьму было бы легче, чем потерять тебя.

Я знаю, Ким говорит мне это, чтобы удержать. Наверняка она не понимает, что странным образом ее признание освобождает меня, как раньше дедушкино разрешение. Я верю, для Ким моя смерть будет ужасным горем, но не могу забыть ее слова о том, что ей больше не страшно, что легче сесть в тюрьму, чем потерять меня. Именно поэтому я не сомневаюсь, что с ней все будет в порядке. Конечно, мой уход причинит ей боль: такую, которая сначала кажется едва заметной, а потом наваливается так, что невозможно вздохнуть. И остаток ее последнего учебного года наверняка пройдет отвратительно: и потому, что сочувственное кудахтанье «ах-она-потеряла-лучшую-подругу» будет ее чудовищно бесить, и потому, что в школе, кроме меня, у нее не было друзей. Но Ким справится; она все преодолет и многого добьется. Она уедет из Орегона, поступит в университет, найдет новых друзей. Влюбится. Станет фотографом — таким, которому не нужно летать на вертолетах. Могу поспорить, Ким будет намного сильнее из-за сегодняшней потери. У меня есть ощущение, что, когда проходишь через подобные трудности, становишься немного неуязвимым.

Понимаю, с моей стороны это некоторое лицемерие. Если все так, не стоит ли мне остаться? И мужественно пройти через эти испытания? Возможно, будь у меня чуть больше опыта, будь в моей жизни больше опустошительных трагедий, я бы оказалась более подготовлена к борьбе. Не то чтобы моя жизнь была идеальной. У меня случались разочарования, я обманывалась в своих ожиданиях, чувствовала одиночество, досаду и злость — словом, переживала то же дерьмо, что и все люди. Но большое горе меня до сих пор обходило стороной. Я не закалилась достаточно, чтобы справиться с тем, с чем пришлось бы иметь дело, если бы я должна была остаться.

Теперь Ким рассказывает, как от неминуемого ареста их спасла Уиллоу. Когда она описывает, как Уиллоу построила по струнке всю больницу, в ее голосе звучит восхищение. Я тут же представляю, что Ким и Уиллоу подружатся, пусть даже между ними двадцать лет разницы. Меня несказанно радуют воображаемые картины, как они пьют вместе чай или ходят в кино, по-прежнему связанные друг с другом невидимой ниточкой уже несуществующей семьи.

Ким перечисляет всех людей, которые дежурят в больнице сейчас или приходили в течение дня, загибая по пальцу на каждого.

— Твои бабушка и дедушка, тети, дяди, двоюродные братья и сестры. Адам и Брук Вега с ее бузотерами. Ребята из группы Адама: Майк, Фитци, и Лиз, и ее девушка Сара — все они сидят внизу в комнате ожидания с тех пор, как их выпроводили из твоей палаты. Еще профессор Кристи, она провела здесь полночи, но потом уехала, чтобы немного поспать, принять душ и успеть на какую-то важную утреннюю встречу. Генри с ребенком, они едут сюда прямо сейчас, потому что ребенок проснулся в пять утра, и Генри позвонил и сказал, что больше не может торчать дома. И мы с мамой, — завершает Ким. — Блин, я уже сбилась со счета, сколько народу получилось. Но уж точно много. И еще больше людей звонили и хотели приехать, но твоя тетя Диана попросила их подождать. Она сказала, что мы и так доставляем всем кучу неприятностей. Думаю, что под словом «мы» она подразумевала меня и Адама, — Ким на секунду останавливается и улыбается. Потом издает такой смешной звук: нечто среднее между чиханием и кашлем. Я слышала его и раньше: она так делает, когда собирается с духом, готовясь прыгнуть со скалы в холодные воды реки.

— К чему я это все говорю-то, — продолжает подруга. — Здесь, в комнате ожидания, около двадцати человек, прямо сейчас. Одни твои родственники, другие — нет, но мы все твоя семья.

Теперь она умолкает. Потом наклоняется надо мной так, что пряди ее

волос щекочут мое лицо, и целует меня в лоб.

— У тебя по-прежнему есть семья, — шепчет она.

* * *

Прошлым летом мы неожиданно устроили вечеринку в честь Дня труда. Лето выдалось напряженным. Сначала мой лагерь, потом мы ездили к бабушкиной семье на Массачусетское сборище. Мне казалось, что я не видела Адама и Ким все лето. Мои родители плакались, что месяцами не встречались с Уиллоу, Генри и их дочуркой.

— Генри говорит, она начинает ходить, — заметил папа в то утро. Мы все сидели в гостиной перед вентилятором, чтобы не растаять: Орегон накрыла волна небывалой жары. Было десять утра и больше тридцати градусов.

Мама взглянула на календарь.

— Ей уже десять месяцев. Куда девается время? — Потом она посмотрела на нас с Тедди: — Как это вообще возможно, что моя дочь последний год в школе? Когда, черт возьми, мой малыш успел пойти во второй класс?

— Я не малыш, — возразил Тедди, явно оскорбленный.

— Прости, сынок, но, пока у нас не будет другого малыша, ты всегда останешься моим малышом.

— Другого? — переспросил папа с наигранным ужасом.

— Расслабься, я шучу — местами, — сказала мама. — Посмотрим, как я себя буду чувствовать, когда Мия закончит университет.

— Мне уже будет восемь в декабре. Тогда я стану мужчиной, и вам придется называть меня «Тед», — заявил Тедди.

— Правда? — Я фыркнула так, что апельсиновый сок брызнул из носа.

— Так мне Кейси Карсон сказал, — сообщил Тедди, решительно сжав губы.

Мы с родителями застонали. Кейси Карсон был лучшим другом Тедди, и всем нам он очень нравился. Однако мы не могли уразуметь, как его родители, весьма приятные на вид люди, сподобились дать сыну такое нелепое имечко.

— Ну, раз Кейси Карсон так говорит... — хихикнув, протянула я, и мама с папой тоже расхохотались.

— Что такого смешного? — спросил Тедди.

— Ничего, Маленький мужчина, — ответил папа. — Это все от жары.

— А можно, мы сегодня опять включим брызгалки? — запрыгал Тедди.

Папа пообещал разрешить ему днем пробежать через разбрызгиватели, хотя губернатор просил всех побережь воду нынешним летом. Эта просьба привела папу в негодование: он заявил, что мы, орегонцы, восемь месяцев в году страдаем от дождей и уж нас-то следовало бы избавить от беспокойства насчет воды.

— Вот можно, черт побери, можно, — ответил пап. — Хоть все затопи, если хочешь.

Довольный, Тедди спросил:

— Если малышка уже ходит, тогда она тоже может пройти через брызгалки. Можно, она пойдет со мной?

Мама посмотрела на папу.

— А неплохая идея, — заметила она. — Вроде бы у Уиллоу сегодня выходной.

— Можно устроить барбекю, — сказал папа. — Сегодня же День труда, а жарить мясо по такой жаре уж точно труд.

— Плюс к тому, у нас полный холодильник стейков с тех пор, как твой папа решил заказать сразу половину говяжьей туши, — добавила мама. — Почему бы и нет?

— А можно Адаму прийти? — спросила я.

— Конечно, — ответила мама. — В последнее время мы нечасто видели твоего юношу.

— Уж знаю, — сказала я, — у них в группе сейчас большие перемены.

В то время меня это искренне и глубоко радовало. Бабушка только-только заронила в мою голову семечко светлого консерваторского будущего, но оно пока не проросло. Я еще не решила подавать заявление. И в отношениях с Адамом натянутость пока не появилась.

— Если, конечно, рок-звезда станет связываться с такими занудами, как мы, и нашим скромным пикником, — сострил папа.

— Если уж он связался с такой занудой, как я, то уж с такими занудами, как вы, и подавно не откажется, — отшутилась я. — Пожалуй, и Ким позову.

— Чем больше народа, тем веселее, — решила мама. — Устроим кутеж, как в старые добрые времена.

— Когда по земле бродили динозавры? — невинно вмешался Тедди.

— Именно, — подтвердил папа. — Когда по земле бродили динозавры, а мы с вашей мамой были молоды.

Собралось около двадцати человек. Генри, Уиллоу, их дочка, Адам и с ним Фитци, Ким, прихватившая гостью — кузину из Нью-Джерси, плюс целая куча друзей моих родителей, с которыми они уже сто лет не виделись. Папа выволок из подвала нашу старинную решетку для барбекю и полдня ее отскребал. Мы жарили мясо и, как повелось в Орегоне, делали хот-доги из тофу и вегетарианские бургеры. Был арбуз, охлажденный в ведре со льдом, и салат из овощей, выращенных на эко-ферме кого-то из родительских друзей. Мы с мамой испекли три пирога с дикой ежевикой, которую насобирали Тедди и я. Все пили пепси из бутылок старого образца — папа откопал их в каком-то древнем деревенском магазинчике, и, клянусь, вкус у нее был лучше, чем у современной. Может, из-за жары, или оттого, что вечеринка собралась так спонтанно, или потому, что на гриле все кажется вкуснее, у нас получилась одна из тех трапез, которые запоминаются навсегда.

Когда папа включил для Тедди и малышки разбрызгиватель, все остальные тоже решили пробежать под ним. Мы не выключали его так долго, что бурая лужайка превратилась в огромную скользкую лужу, и я думала, когда же явится губернатор и прикажет нам отключить воду. Адам погнался за мной, и мы, смеясь, носились по газону. Было так жарко, что я и не думала переодеваться в сухое, просто пробежала под брызгалками, когда слишком потела. К концу дня мой сарафан стал жестким и тугим. Тедди снял рубашку и разрисовался грязью. Папа сказал, что он выглядит как герой «Повелителя мух».

Когда начало темнеть, большинство гостей уехали на шоу фейерверков, устроенное в университете, или в город, на концерт группы «Освальд пять-ноль». Осталась небольшая группа, в том числе Адам, Ким, Уиллоу и Генри. Когда стало попрохладней, папа развел на лужайке костер, и мы нажарили рисовой пастилы. Потом появились музыкальные инструменты: папин рабочий барабан из дома, гитара Генри из его машины, запасная гитара Адама из моей комнаты. Все играли вместе, импровизировали и пели песни: папины, Адама, старые хиты «Клэш» ^[42] и «Уай-перс». ^[43]Тедди плясал вокруг, по его светлым волосам бегали блики золотого пламени. Помню, я смотрела на все это, в груди у меня щекотало, и я думала: «Вот это ощущение и есть счастье».

В какой-то момент я заметила, что папа с Адамом перестали играть и зашептались. Потом они ушли в дом, заявив, что принесут еще пива, но вернулись с моей виолончелью.

— Ой, нет, я не буду тут давать концерт, — запротестовала я.

— А нам и не надо, — сказал папа. — Мы хотим, чтобы ты поиграла с нами.

— Нет-нет-нет, — отбивалась я.

Адам иногда пытался уговорить меня «поджемовать» с ним, а я всегда отказывалась. Позже пошли шуточки про наш дуэт на воздушных инструментах — но дальше них мне заходить уж никак не хотелось.

— А почему нет, Мия? — удивилась Ким. — Неужели ты такой классик-сноб?

— Да не поэтому. — Я вдруг впала в легкую панику. — Просто наши стили плохо сочетаются друг с другом.

— И кто это сказал? — вздернула брови мама.

— Да уж, не знали мы, что ты сторонница музыкальной сегрегации, — сдохмил Генри.

Уиллоу сделала в сторону мужа страшные глаза и повернулась ко мне.

— Ну пожа-а-алуйста, — попросила она, качая дочку на коленях. — А то я никогда не выберусь тебя послушать.

— Давай же, Мия, — сказал Генри. — Мы же все здесь семья.

— Точно, — поддержала Ким.

Адам взял меня за руку и погладил по запястью.

— Ну сделай это для меня. Я правда хочу сыграть с тобой. Всего разок.

Я уже собиралась помотать головой, утверждая, что моей виолончели нет места в гитарном «джеме», нет места в мире панк-рока. Но потом посмотрела на маму, улыбнувшуюся мне с вызовом, и на папу, притворно равнодушно постукивающего по своей трубке, чтобы не давить на меня, и на скачущего на месте Тедди — хотя он-то, подозреваю, прыгал под действием воздушно-рисовой пастилы, а не потому, что очень уж хотел послушать мою игру. И Ким, и Уиллоу, и Генри — все уставились на меня так, будто это было по-настоящему важно для них; а Адам принял такой же восторженный и гордый вид, как всегда, когда слушал меня. Я боялась, что ударю в грязь лицом, не смогу подстроиться или плохо сыграю. Но все так смотрели на меня, так ждали, что я присоединюсь... И я поняла: плохо сыграть — не самое худшее, что может случиться.

Так что я стала играть. И кто бы мог подумать, виолончель очень даже неплохо звучала среди всех этих гитар. По правде говоря, звучала она просто изумительно.

07:16

Утро. В больнице начинается свой рассвет: шуршание одеял, протираание глаз. В каком-то смысле больница никогда не ложится спать. Свет горит, медсестры бодрствуют, но даже хотя снаружи еще темно, можно почувствовать, как все пробуждается. Вернулись врачи; они поднимают мне веки, светят своими фонариками и, хмурясь, корябают отметки в моей медкарте, как будто я их подвела.

Мне уже все равно. Я устала от всего этого, и скоро оно закончится. Соцработница тоже вернулась на пост. Похоже, ночной сон не слишком ей помог. Глаза у нее по-прежнему припухшие, а волосы сбились в курчавую массу. Медсестра с иссиня-черной кожей тоже вернулась. Она поздоровалась со мной, сказав, что очень рада увидеть меня и что думала обо мне ночью и надеялась встретиться утром. Потом она замечает пятно крови на моем одеяле, огорченно цокает языком и спешит найти мне новое.

После Ким больше посетителей не было. Полагаю, у Уиллоу закончились люди, которые могли бы на меня повлиять. Я задумываюсь, знают ли про эту штуку с решением все медсестры. Сестра Рамирес точно знала, и, думаю, медсестра, наблюдающая за мной сейчас, тоже знает — судя по ее радости, что я пережила ночь. И Уиллоу, кажется, тоже понимает — раз уж притащила сюда всех и каждого. Мне очень нравятся эти медсестры. Надеюсь, они не воспримут мое решение близко к сердцу.

Сейчас я уже так устала, что едва могу моргнуть. Остается только ждать — и часть меня интересуется, почему я оттягиваю неизбежное. Но я знаю почему: я жду возвращения Адама. Хотя мне кажется, что его нет уже целую вечность, прошло, пожалуй, не больше часа. И он попросил меня подождать, так что я подожду. Уж это-то я могу для него сделать.

Мои глаза закрыты, так что я слышу его раньше, чем вижу. Я слышу хриплые быстрые движения воздуха в его легких. Он задыхается, будто только что пробежал марафон. Потом я ощущаю запах его пота — чистый мускусный аромат, который я бы с удовольствием закупорила во флакон и носила, как духи. Я открываю глаза — его глаза закрыты. Веки у него припухшие и розовые, так что я понимаю, чем он занимался. Он за этим ушел? Поплакать, чтобы я не видела?

Адам не столько садится на стул, сколько падает, словно одежда, сброшенная на пол в конце долгого дня. Он закрывает лицо руками и глубоко дышит, чтобы прийти в себя. Но через минуту роняет руки на

колени.

— Просто послушай. — Его голос дребезжит, словно битое стекло.

Я широко открываю глаза, выпрямляюсь, насколько могу, и слушаю.

— Останься, — Адам запинаяется, но сглатывает и торопливо продолжает. — Нет слов для того, что с тобой случилось. В этом нет никакой хорошей стороны. Но есть что-то, ради чего стоит жить. И я даже не о себе говорю. Это просто... ну, не знаю. Может, я бред несусь. Понимаю, я в шоке, я еще не переварил того, что случилось с твоими родителями, с Тедди... — На имени Тедди его голос срывается, и по лицу лавиной катятся слезы. — Но я все время думаю: «Я люблю тебя».

Я слушаю, как Адам глотает воздух, чтобы успокоиться. Потом он продолжает:

— Все, о чем я могу думать, — как глупо будет, если твоя жизнь закончится вот так: здесь, сейчас. То есть я понимаю, что прежняя твоя жизнь уже закончилась, навсегда. И я не настолько туп, чтобы думать, будто смогу это исправить, будто кто-нибудь сможет это исправить. Но у меня в голове не уместается, что ты не постареешь, не заведешь детей, не поедешь в Джульярд, не будешь играть на своей виолончели перед огромными залами, чтобы у всех холодок бежал по спине — как у меня всякий раз, когда я вижу, что ты берешь смычок, всякий раз, когда ты улыбаешься мне. Если ты останешься, я сделаю все, что ты захочешь. Я уйду из группы, поеду с тобой в Нью-Йорк. А если тебе понадобится, чтобы я ушел из твоей жизни, я и это сделаю. Я говорил с Лиз, и она предположила, что возвращение к прежней жизни может стать для тебя слишком болезненным; что тебе может оказаться проще вычеркнуть нас. Это будет невыносимо, но я выдержу. Я смогу потерять тебя вот так, если не потеряю сегодня. Я отпущу тебя. Если ты останешься.

Тут Адам не выдерживает. Его рыдания пробиваются из груди, как кулаки, молотящие по мягкой плоти.

Я закрываю глаза, закрываю уши. Я не могу на это смотреть. Я не могу это слышать.

Но потом я слышу уже не Адама. Это иной звук: низкий стон, в одно мгновение взлетающий к небесам и переходящий в нежность и красоту. Виолончель. Адам надел наушники на мои неслышащие уши и сейчас кладет айпод мне на грудь. Извиняется: мол, он знает, что это не самая любимая моя пьеса, но лучше ему ничего не попало. Он делает звук погромче, и я слышу, как в утреннем воздухе разливается музыка. Адам берет меня за руку.

Это Йо-Йо Ма — он играет «Andante con poco e moto rubato». Тихая

басовая партия пианино звучит как предостережение. Вступает виолончель — словно истекающее кровью сердце. И будто что-то рушится во мне.

Я сижу за утренним столом с моей семьей, пью горячий кофе, смеюсь над шоколадными усами Тедди. За окном кружится снег.

Я прихожу на кладбище — три могилы под деревом на холме, глядящем на реку.

Я лежу на песчаном берегу реки вместе с Адамом, моя голова покоится на его груди.

Я слышу, как люди произносят слово «сирота», и понимаю, что они говорят обо мне.

Я иду по Нью-Йорку с Ким, небоскребы бросают тени на наши лица.

Я держу Тедди на коленях, щекочу его, а он хохочет так, что опрокидывается навзничь.

Я сижу, обнимая виолончель — ту самую, которую мама с папой подарили мне после первого выступления. Мои пальцы ласкают деку и колки, ставшие гладкими от прикосновений. Смычок ложится на струны. Я смотрю на свою руку, ожидая начала музыки.

Я смотрю на свою руку в руке Адама.

Йо-Йо Ма продолжает играть, и пианино с виолончелью словно вливаются в мое тело, так же как раствор из капельницы и переливаемая кровь. На меня накатывают воспоминания о моей жизни, какой она была, и видения того, какой она могла бы быть, стремительно, мощно и яростно. Я чувствую, что не поспеваю за ними, но они мчат сплошным потоком, и все сталкивается, перепутывается — а я больше не могу этого вынести. Я больше ни секунды не могу тут оставаться.

Ослепительная вспышка, жгучее мгновение режущей боли — молчаливый вопль моего переломанного тела. Впервые я ощущаю, как мучительно будет остаться.

Но потом я чувствую руку Адама — не вижу, а чувствую. Я больше не сижу, скорчившись на стуле. Я лежу на спине на больничной кровати, я снова едина со своим телом.

Адам рыдает, и где-то внутри себя я тоже плачу, потому что наконец-то все чувствую. Я ощущаю не только физическую боль, но все, что я потеряла — и это абсолютная катастрофа. Она оставит во мне дыру размером с кратер, которую ничто никогда не заполнит. Но я также ощущаю все, что есть в моей жизни, включая потерянное, равно как и невообразимую неизвестность того, что жизнь еще может мне принести. И это уже слишком. Возбуждение растет, угрожая разорвать мне грудь. Единственный способ пережить его — сосредоточиться на руке Адама,

сжимающей мою.

И мне вдруг становится необходимо тоже подержаться за него — ничто в мире никогда не было так нужно. Пусть не только он сжимает мою руку, но и я его. Я направляю каждую оставшуюся каплю сил в свою правую руку. Я слаба, так что это очень трудно. Но я собираю всю когда-либо испытанную мною любовь, все силы, какие мне дали бабушка с дедушкой, и Ким, и медсестры. Я призываю всю энергию, которой наполнили бы меня мама, папа и Тедди, если бы могли. Собираю всю собственную силу, фокусирую ее, словно лазерный луч, в пальцах и ладони правой руки. Я представляю, как моя рука гладит волосы Тедди; сжимает смычок, занесенный над струнами виолончели; сплетается с рукой Адама.

И стискиваю пальцы.

Потом, ослабев, лежу — изможденная, не уверенная, правда ли у меня все получилось. Я не знаю, значит ли мое движение что-нибудь, замечено ли оно, важно ли.

Но тут рука Адама сжимается сильнее, как будто удерживает все мое тело. Как будто может поднять меня с этой кровати. А потом я слышу резкий вздох и любимый голос — первый раз сегодня я действительно его слышу.

— Мия? — спрашивает Адам.

Благодарности

Много людей за короткое время сошлись вместе, чтобы «Если я останусь» смогла появиться на свет. Началась эта книга с Джиллиан Олдрич, которая расчувствовалась (в хорошем смысле слова), когда я изложила ей свою идею. Это оказалось достаточным стимулом, чтобы я приступила к работе.

Тамара Гленни, Элиза Грисволд, Ким Севчик и Шон Смит нашли в своих напряженных графиках время, чтобы прочитать первые наброски и подарить мне столь необходимую поддержку. Я люблю и благодарю их за бесконечное великодушие и дружбу. Некоторые люди помогают сохранять присутствие духа; Марджори Инголл помогает мне сохранять присутствие сердца, и за это я люблю и благодарю ее. Спасибо также Джане и Моше Банин.

Сара Бернс — мой агент в самом лучшем смысле этого слова: она вкладывает свой потрясающий интеллект и проницательность, страсть и теплоту, чтобы передать написанные мною слова людям, которые их прочтут. Они с великолепными Кортни Гейтвуд и Стефани Кейбот творили чудеса во всем, что касалось этой книги.

Впервые встретившись с командой «Penguin», я тут же ощутила, будто сижу в кругу семьи. Мой невероятный редактор Джули Штраусс-Гейбл окружила Мию и ее семью (не говоря уже обо мне) самым пристальным вниманием и любовью, какие можно только надеяться получить от родных. Она «Джули-экстра». Дон Вайсберг вложил в эту книгу и сердце, и силу. Везде: в издательском процессе, продажах, маркетинге, рекламе и дизайне — люди превзошли себя и все возможное, и за это я хочу отдельно поблагодарить: Хедер Эликзандер, Скотти Боудитча, Ли Батлер, Мэри-Маргарет Каллахэн, Лайзу Дегрофф, Эрин Демпси, Джеки Энджел, Фелисию Фрезье, Кристин Гилсон, Энни Хервитц, Рас Шан Джонсон-Бейкер, Дебору Каплан, Эйлин Крейт, Кимберли Лаубер, Розанн Лауер, Стефани Оуэнс Лури, Барбару Маркус, Кейси Макинтри, Стива Мелтцера, Шанту Ньюлин, Мэри Рэймонд, Эмили Ромеро, Холли Рак, Джану Сингер, Лоренса Туччи, Эллисон Верост, Аллена Вайнбаргера, Кортни Вуд, Хедер Вуд и Лизу Йосковитц. И наконец, огромная моя благодарность всем местным агентам, изрядно потрудившимся ради моей книги. (Ффууух!)

Музыка — очень важная часть этой истории. Я получила море вдохновения от Йо-Йо Ма — его работы многое объясняют в жизни

Мии, — а также от Глена Хэнсарда и Маркеты Иргловой, чью песню «Falling Slowly» я прослушала, наверное, раз двести, трудясь над этой книгой.

Спасибо моему оregonскому кружку: Грегу и Дайане Риос, которые все это время были нашими земляками. Джону и Пег Кристи, чьи любезность, достоинство и великодушие продолжают вдохновлять и трогать меня. Дженнифер Ларсон, моей давней подруге и, по счастливому стечению обстоятельств, врачу-реаниматологу: она просветила меня насчет коматозной шкалы Глазго, не говоря уж о прочих медицинских подробностях.

Мои родители, Ли и Рут Форман, и брат с сестрой, Тамар Шамхарт и Грег Форман — моя группа поддержки, которая игнорирует мои неудачи (по крайней мере, профессиональные) и радуется моим успехам, как собственным (что чистая правда). Спасибо также Карен Форман, Роберту Шамхарту и Детте Такер.

Я не сразу поняла, как много в этой книге говорится о том, насколько родители меняют свою жизнь ради детей. Уилла Такер учит меня этому каждый день и прощает, когда я погружаюсь в игры своей фантазии слишком глубоко, чтобы играть и фантазировать с ней.

Без моего мужа, Ника Такера, ничего этого бы не было. Я всем обязана ему.

И наконец, моя глубочайшая благодарность тем, кто всячески вдохновляет меня и каждый день доказывает мне, что бессмертие существует.

notes

Примечания

1

«Бисквик» — кулинарная смесь для выпечки. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

2

Джульярд — престижная консерватория в Нью-Йорке.

3

Цитата из песни «Молчи» («Be Still») американской хард-рок-группы «Нельсон».

4

«School is Out for Summer» — песня Элиса Купера.

5

Американская рок-группа.

6

Имеется в виду полнометражный мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны».

7

Джонатан Ричмен — американский певец, гитарист и автор песен.

8

«Лайф-флайт» — американская медицинская воздушно-транспортная служба.

9

«Моя звездочка, мерцай» — популярная детская песенка.

10

Компания, производящая модную одежду.

11

Концертный зал в Портленде.

12

Герои популярного американского комикс-сериала: шестилетний мальчик и его плюшевый тигр.

13

YMCA — одна из крупнейших молодежных религиозных организаций в мире.

«Фэйрмонт» — роскошный отель и ресторан в Сан-Франциско.

15

Туристический рыбачий квартал в Сан-Франциско.

16

Порядок струн на виолончели на самом деле другой: ля, ре, соль, до — сверху вниз.

17

Имеется в виду молодежная комедия «Американский пирог: Музыкальный лагерь».

18

Национальный парк США, расположенный в южной части штата Орегон.

Известный нью-йоркский клуб, работавший с 1973 по 2006 г.

20

Герой одноименного американского сериала.

21

Традиционный обряд на Хеллоуин, когда дети выпрашивают сладости, угрожая в случае отказа вымазать двери сажей.

«Эта прекрасная жизнь» — фильм Франка Капры, 1946 г.

Имеется в виду «Американская федерация планирования семьи».

Цитата из одноименной песни «Роллинг стоунз»: «You can't always get what you want».

Отсылка к испанскому фантастическому фильму «Новые инопланетяне» (1983), режиссер Хуан Пике Симон.

26

Концертный альбом группы «Нирвана».

Британская группа альтернативного рока.

Американский музыкальный журнал.

Американские рок-группы.

Американская сеть ресторанов быстрого обслуживания.

31

Город в штате Айдахо.

Американская панк-рок-группа.

Американская рок-группа.

Американский автор-исполнитель, пятикратный обладатель премии «Грэмми».

Группа деятелей американского шоу-бизнеса, собравшаяся вокруг киноактера Хамфри Богарта (1899–1957) и его жены, киноактрисы Лорен Бэколл (р. 1924).

Детская книга американского писателя Эдвина Брукса Уайта, впервые опубликованная в 1952 г.

Новогодняя церемония, проходящая на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Американский новогодний фестиваль.

Концертный зал в Портленде.

40

Американская панк-группа.

«Икс-рей» («X-Ray Cafe») — маленький клуб в Портленде, работавший в 1990–1994 гг., но оказавший значительное влияние на формирование андеграундной культуры.

42

Легендарная британская панк-рок-группа.

43

Американская панк-рок-группа, созданная в Орегоне в 1970-е г.

Table of Contents

[Гейл Форман Если я останусь](#)

[07:09](#)

[08:17](#)

[09:23](#)

[10:12](#)

[12:19](#)

[15:47](#)

[16:39](#)

[16:47](#)

[17:40](#)

[19:13](#)

[20:12](#)

[21:06](#)

[22:40](#)

[02:48](#)

[04:57](#)

[05:42](#)

[07:16](#)

[Благодарности](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)